

100 великих романов

Лев ТОЛСТОЙ

АННА КАРЕНИНА



100 великих романов

Лев Толстой
Анна Каренина

«ВЕЧЕ»

1873–1877

Толстой Л. Н.

Анна Каренина / Л. Н. Толстой — «ВЕЧЕ», 1873–1877 — (100 великих романов)

ISBN 978-5-444-48700-6

Роман «Анна Каренина» Льва Николаевича Толстого (1828–1910) является самой читаемой книгой в мире. По словам Достоевского, это произведение поражает «не только вседневностью содержания, но и огромной психологической разработкой души человеческой, страшной глубиной и силой». История любви замужней женщины к блестящему офицеру, губительной для Анны, но завораживающей своей страстностью и самоотверженностью, уже более ста лет не сходит со сценических подмостков и экранизирована множество раз как в России, так и за рубежом.

ISBN 978-5-444-48700-6

© Толстой Л. Н., 1873–1877

© ВЕЧЕ, 1873–1877

Содержание

Испытание любовью	7
Часть первая	9
I	9
II	11
III	13
IV	16
V	19
VI	24
VII	26
VIII	28
IX	30
X	34
XI	38
XII	41
XIII	44
XIV	46
XV	50
XVI	52
XVII	53
XVIII	55
XIX	59
XX	62
XXI	64
XXII	66
XXIII	69
XXIV	72
XXV	75
XXVI	78
XXVII	80
XXVIII	82
XXIX	84
XXX	86
XXXI	88
XXXII	90
XXXIII	92
XXXIV	94
Часть вторая	97
I	97
II	100
III	102
IV	104
V	106
VI	108
VII	111
VIII	115
IX	117

X	120
XI	121
XII	123
XIII	125
XIV	129
XV	132
XVI	134
XVII	137
XVIII	140
XIX	142
XX	144
XXI	146
XXII	149
XXIII	152
XXIV	154
XXV	158
Конец ознакомительного фрагмента.	160

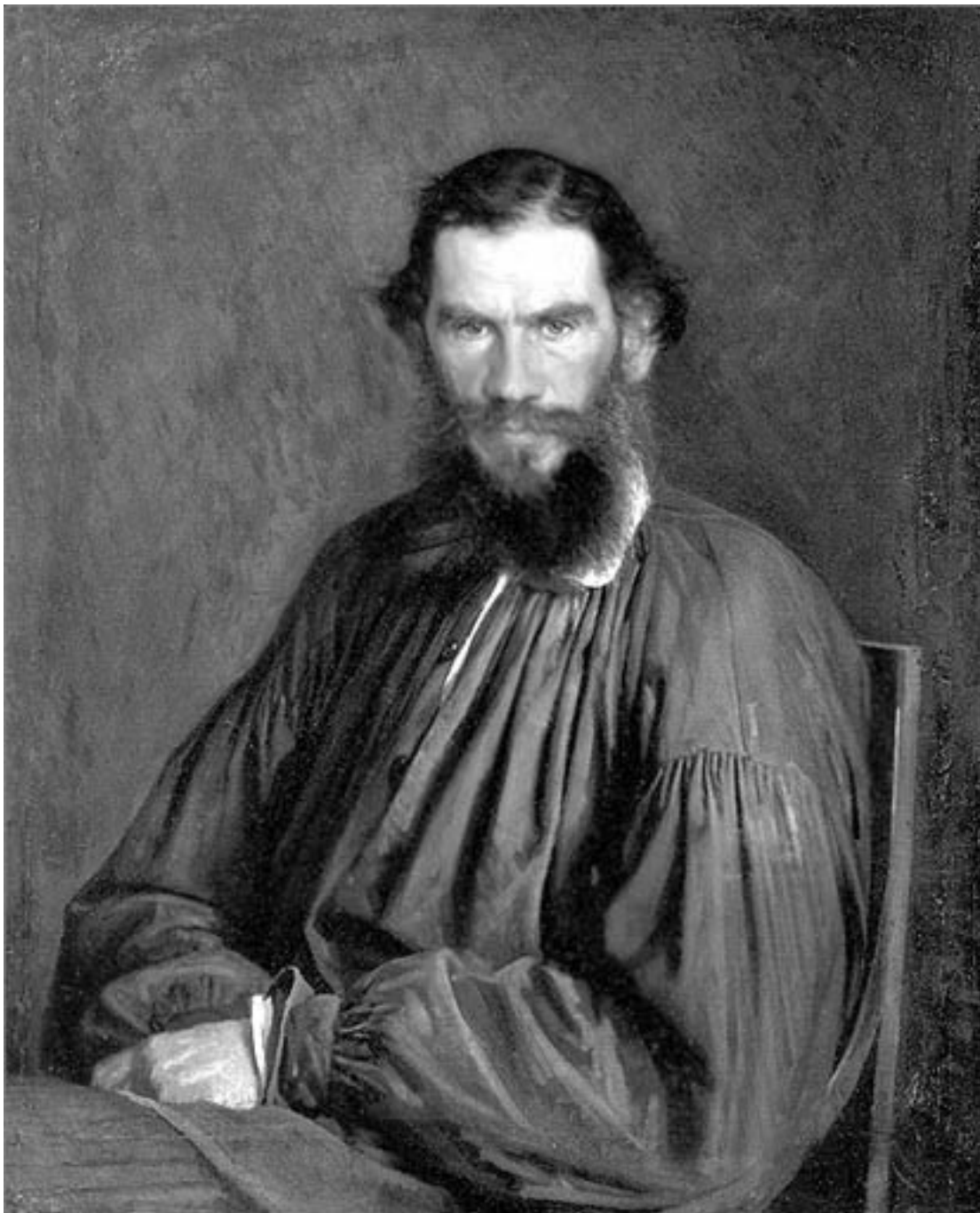
Лев Николаевич Толстой

Анна Каренина

© Клех И.Ю., вступительная статья, 2017

© ООО «Издательство «Вече», 2017

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017



Лев Николаевич Толстой
1828–1910

Испытание любовью

«Анна Каренина» – один из самых знаменитых романов мировой литературы. Как читать его в XXI веке? Во-первых, о чем он?

О том, что романтическая любовь обладает огромным разрушительным потенциалом? О скрытом антагонизме любви и брака, уничтожающем поочередно брак, семью, любовь, а следом и лиц, вовлеченных в беспощадную войну полов? Или о стране, в которой вдруг «всё перевернулось и только укладывается» – рушится жизненный уклад, и сами устои его поставлены под сомнение? Или же это философский роман о духовной подоплеке жизни – о мысли, опровергающей саму себя на каждом шагу, и поисках человеком нравственной опоры в себе и окружающем мире? Сам Лев Толстой (1828–1910) отвечал, что если бы мог выразиться короче, в форме четких суждений, то, несомненно, сделал бы это, а так – читайте роман, в нем все сказано и упрощенному пересказу не поддается.

Как роман о семейной жизни, любви и изменах, «Анна Каренина» Толстого затмевает другой похожий на него великий роман – «Госпожу Бовари» Флобера. Флобер заявлял, как известно, что его Эмма Бовари – это он сам, а Толстой признавался, что свою Анну он «усыновил». Не писательское это дело – осуждать собственных литературных героев. И тем не менее оба писателя дружно умертвили тех героинь, которых сами же выбрали. Француз отравил Эмму мышьяком – вышло мелкобуржуазно. Наш граф бросил Анну под поезд – и получилось героично. Возможно, последнее обстоятельство и склоняет чашу весов в пользу русского романа. Потому что помимо литературных достоинств и глубины проблематики великое произведение обязано потрясать. Анна, поезд – это уже навсегда.

Некий тогдашний критик высказал предположение, что вместо одного Толстой написал и выпустил под общей обложкой два романа. Откуда ему было знать, что рабочим названием романа на стадии черновиков было «Два брака»: то есть каренинский и лёвинский, «плохой» и «хороший», а прибавить еще семейство Облонских – так целых «три брака»!

Толстой наметил три сюжетные линии. Линию органического конформизма Облонских; линию бунта, лобового столкновения биологии, цивилизации и личного начала Вронского и Карениных; и лёвинскую линию, вымученную попытку третьего пути – на полдороге к толстовству. Титанический художник в Толстом боролся с матереющим в нем доктринером – и на поле боя, каким явилась «Анна Каренина», одержал свою самую впечатляющую победу. В результате Анна превратилась в красавицу с душой, Вронский – в максимально порядочного человека, насколько было возможно в его положении, Каренин научился страдать, а несносный для всякого моралиста тип Облонского источает такое личное обаяние, что его чары действуют даже на неуживчивого и корявого Лёвина – мученика рассудка и «альтер эго» Толстого (увы, бездарное, в отличие от своего прототипа).

Но «Анна Каренина» – это также самый «газетный» роман Толстого. Наиболее злободневные темы тех лет горячо обсуждаются на его страницах: независимые суды, пресса, земства, автономия университетов, спиритизм, дарвинизм, библейская критика и «историческая школа» в живописи и литературе, государственная коррупция, балканский вопрос, голод в России и положение крестьян, сельскохозяйственные и банковские тонкости, головокружительные карьеры пореформенного времени и фантастическое обогащение «железнодорожных королей», мало чем отличающихся от современных олигархов (ощущение дежавю может развиться от выражений вроде «чисто конкретно» или «одного боишься – это встречаться с русскими за границей»). Многое из этого и сегодня если не «горячо», то «тепло» (а в советское время казалось: прошлый век, доисторический период!). Но дело даже не в параллелях, а в общем ощущении огромной общественной сумятицы после длительного застоя, что позволяет

сторонним наблюдателям называть Россию «страной хронической катастрофы» и, как встарь, ассоциировать ее с впадающим периодически в спячку медведем.

Толстой сумел сочинить зрячую книгу о перипетиях любви и семейной жизни на фоне жизни огромной страны, да так ловко увязать все линии и проблемы, что роман производит впечатление гордиева узла. Все лица здесь представлены в движении, все конфликты получают полное развитие, все элементы и качества по ходу повествования исчерпывают свои явные и потенциальные возможности, переходя в собственные противоположности. Сильное гибнет, слабое крепчает, сладкое горчит, а горькое лечит, плач успокаивает, мучитель и жертва меняются местами и т. д. Что, по Аристотелю, является первейшим признаком художественного шедевра.

Игорь Клев

Мне отмищение, и аз воздам

Часть первая

I

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по своему.

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел вчера со двора, во время самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.

На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский – Стива, как его звали в свете, – в обычный час, то есть в восемь часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза.

«Да, да, как это было? – думал он, вспоминая сон. – Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, – и столы пели: *Il mio tesoro*¹ и не *Il mio tesoro*, а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины», – вспоминал он.

Глаза Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо. Много еще что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку одной из суконных стор, он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой (подарок ко дню рождения в прошлом году), обделанные в золотистый сафьян туфли и по старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне у него висел халат. И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.

«Ах, ах, ах! Ааа!..» – замычал он, вспоминая все, что было. И его воображению представились опять все подробности ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его.

«Да! она не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что виной всему я, виной я, а не виноват. В этом-то вся драма, – думал он. – Ах, ах, ах!» – приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые для себя впечатления из этой ссоры.

Неприятнее всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселым и довольным, с огромною грушей для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете и, наконец, увидел ее в спальне с несчастною, открывшею все, запиской в руке.

¹ Мое сокровище (*итал.*).

Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая, и недалекая, какую он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской в руке и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него.

– Что это? это? – спрашивала она, указывая на записку.

И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то, как он ответил на эти слова жены.

С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел приготовить свое лицо к тому положению, в которое он становился пред женой после открытия его вины. Вместо того чтоб оскорбиться, отречься, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным – все было бы лучше того, что он сделал! – его лицо совершенно невольно («рефлексы головного мозга», – подумал Степан Аркадьич, который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулось привычною, доброю и потому глупую улыбкой.

Эту глупую улыбку он не мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственной ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех пор она не хотела видеть мужа.

«Всему виной эта глупая улыбка», – думал Степан Аркадьич.

«Но что ж делать? что ж делать?» – с отчаянием говорил он себе и не находил ответа.

II

Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог раскаиваться теперь в том, в чем он раскаивался когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую неверность жене. Он не мог раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если б ожидал, что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не обдумывал этого вопроса, но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалось совсем противное.

«Ах, ужасно! ай, ай, ай! ужасно! – твердил себе Степан Аркадьич и ничего не мог придумать. – И как хорошо все это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна, счастлива детьми, я не мешал ей ни в чем, предоставлял ей возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что *она* была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо! Есть что-то тривиальное, пошлое в ухаживанье за своею гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он живо вспомнил черные плутовские глаза m-lle Roland и ее улыбку.) Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего. И хуже всего то, что она уже... Надо же это все как нарочно. Ай, ай, ай! Аяй! Но что же, что же делать?»

Ответа не было, кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот: надо жить потребностями дня, то есть забыться. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере до ночи, нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики-женщины; стало быть, надо забыться сном жизни.

«Там видно будет», – сказал себе Степан Аркадьич и, встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом и, вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, подошел к окну, поднял стору и громко позвонил. На звонок тотчас же вошел старый друг, камердинер Матвей, неся платье, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел и цирюльник с припасами для бритья.

– Из присутствия есть бумаги? – спросил Степан Аркадьич, взяв телеграмму и садясь к зеркалу.

– На столе, – отвечал Матвей, взглянул вопросительно, с участием, на барина и, подождав немного, прибавил с хитрою улыбкой: – От хозяина извозчика приходили.

Степан Аркадьич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея; во взгляде, которым они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадьича как будто спрашивал: «Это зачем ты говоришь? разве ты не знаешь?»

Матвей положил руки в карманы своей жакетки, отставил ногу и молча, добродушно, чуть-чуть улыбаясь, посмотрел на своего барина.

– Я приказал прийти в то воскресенье, а до тех пор чтоб не беспокоили вас и себя понапрасну, – сказал он, видимо, приготовленную фразу.

Степан Аркадьич понял, что Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочел ее, догадкой поправляя перевернутые, как всегда, слова, и лицо его просияло.

– Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра, – сказал он, остановив на минуту глянцевою, пухлую ручку цирюльника, расчищавшую розовую дорогу между длинными кудрявыми бакенбардами.

– Слава богу, – сказал Матвей, этим ответом показывая, что он понимает так же, как и барин, значение этого приезда, то есть что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьича, может содействовать примирению мужа с женой.

– Одни или с супругом? – спросил Матвей.

Степан Аркадьич не мог говорить, так как цирюльник занят был верхней губой, и поднял один палец. Матвей в зеркало кивнул головой.

– Одни. Наверху приготовить?

– Дарье Александровне доложи, где прикажут.

– Дарье Александровне? – как бы с сомнением повторил Матвей.

– Да, доложи. И вот возьми телеграмму, передай, что они скажут.

«Попробовать хотите», – понял Матвей, но он сказал только:

– Слушаю-с.

Степан Аркадьич уже был умыт и расчесан и сбирался одеваться, когда Матвей, медленно ступая поскрипывающими сапогами по мягкому ковру, с телеграммой в руке, вернулся в комнату. Цирюльника уже не было.

– Дарья Александровна приказали доложить, что они уезжают. Пускай делают, как им, вам то есть, угодно, – сказал он, смеясь только глазами, и, положив руки в карманы и склонив голову набок, уставился на барина.

Степан Аркадьич помолчал. Потом добрая и несколько жалкая улыбка показалась на его красивом лице.

– А? Матвей? – сказал он, покачивая головой.

– Ничего, сударь, образуется, – сказал Матвей.

– Образуется?

– Так точно-с.

– Ты думаешь? Это кто там? – спросил Степан Аркадьич, услышав за дверью шум женского платья.

– Это я-с, – сказал твердый и приятный женский голос, и из-за двери высунулось строгое рябое лицо Матрены Филимоновны, нянюшки.

– Ну что, Матреша? – спросил Степан Аркадьич, выходя к ней в дверь.

Несмотря на то, что Степан Аркадьич был кругом виноват пред женой и сам чувствовал это, почти все в доме, даже нянюшка, главный друг Дарьи Александровны, были на его стороне.

– Ну что? – сказал он уныло.

– Вы сходите, сударь, повинитесь еще. Авось бог даст. Очень мучаются, и смотреть жалости, да и все в доме навывинтараты пошло. Детей, сударь, пожалеть надо. Повинитесь, сударь. Что делать! Люби кататься...

– Да ведь не примет...

– А вы свое сделайте. Бог милостив, Богу молитесь, сударь, Богу молитесь.

– Ну, хорошо, ступай, – сказал Степан Аркадьич, вдруг покраснев. – Ну, так давай одеваться, – обратился он к Матвею и решительно скинул халат.

Матвей уже держал, сдувая что-то невидимое, хомутом приготовленную рубашку и с очевидным удовольствием облек в нее холеное тело барина.

III

Одевшись, Степан Аркадьич прыснул на себя духами, вытянул рукава рубашки, привычным движением рассовал по карманам папиросы, бумажник, спички, часы с двумя цепочками и брелоками и, встряхнув платок, чувствуя себя чистым, душистым, здоровым и физически веселым, несмотря на свое несчастье, вышел, слегка подрагивая на каждой ноге, в столовую, где уже ждал его кофей и, рядом с кофеем, письма и бумаги из присутствия.

Степан Аркадьич сел, прочел письма. Одно было очень неприятное – от купца, покупавшего лес в имении жены. Лес этот необходимо было продать; но теперь, до примирения с женой, не могло быть о том речи. Всего же неприятнее тут было то, что этим подмешивался денежный интерес в предстоящее дело его примирения с женою. И мысль, что он может руководиться этим интересом, что он для продажи этого леса будет искать примирения с женой, – эта мысль оскорбляла его.

Окончив письма, Степан Аркадьич придвинул к себе бумаги из присутствия, быстро перелистовал два дела, большим карандашом сделал несколько отметок и, отодвинув дела, взялся за кофе; за кофеем он развернул еще сырую утреннюю газету и стал читать ее.

Степан Аркадьич получал и читал либеральную газету, не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство. И, несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика, собственно, не интересовали его, он твердо держался тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство и его газета, и изменял их, только когда большинство изменяло их, или, лучше сказать, не изменял их, а они сами в нем незаметно изменялись.

Степан Аркадьич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему, точно так же, как он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрелости, было так же необходимо, как иметь шляпу. Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались тоже многие из его круга, то это произошло не от того, чтоб он находил либеральное направление более разумным, но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни. Либеральная партия говорила, что в России все скверно, и действительно, у Степана Аркадьича долгов было много, а денег решительно не доставало. Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его, и действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьичу и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре. Либеральная партия говорила, или, лучше, подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения, и действительно, Степан Аркадьич не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна и не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело. Вместе с этим Степану Аркадьичу, любившему веселую шутку, было приятно иногда озадачить смирного человека тем, что если уже гордиться породой, то не следует останавливаться на Рюрике и отрекаться от первого родоначальника – обзьяны. Итак, либеральное направление сделалось привычкой Степана Аркадьича, и он любил свою газету, как сигару после обеда, за легкий туман, который она производила в его голове. Он прочел руководящую статью, в которой объяснялось, что в наше время совершенно напрасно поднимается вопль о том, будто бы радикализм угрожает поглотить все консервативные элементы и будто бы правительство обязано принять меры для подавления революционной гидры, что, напротив, «по нашему мнению, опасность лежит не в мнимой революционной гидре, а в упорстве традиционности, тормозящей прогресс», и т. д. Он прочел и другую статью, финансовую, в которой упоминалось о Бентаме и Милле и подпускались тонкие шпильки министерству. Со свойственной ему быстротою соображения он понимал значение всякой шпильки: от

кого и на кого и по какому случаю она была направлена, и это, как всегда, доставляло ему некоторое удовольствие. Но сегодня удовольствие это отравлялось воспоминанием о советах Матрены Филимоновны и о том, что в доме так неблагополучно. Он прочел и о том, что граф Бейст, как слышно, проехал в Висбаден, и о том, что нет более седых волос, и о продаже легкой кареты, и предложение молодой особы; но эти сведения не доставляли ему, как прежде, тихого иронического удовольствия.

Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся, не оттого, чтоб у него на душе было что-нибудь особенно приятное, – радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение.

Но эта радостная улыбка сейчас же напомнила ему все, и он задумался.

Два детские голоса (Степан Аркадьич узнал голоса Гриши, меньшого мальчика, и Тани, старшей девочки) слышались за дверьми. Они что-то везли и уронили.

– Я говорила, что на крышу нельзя сажать пассажиров, – кричала по-английски девочка, – вот подбирай!

«Все смешалось, – подумал Степан Аркадьич, – вон дети одни бегают». И, подойдя к двери, он кликнул их. Они бросили шкатулку, представлявшую поезд, и вошли к отцу.

Девочка, любимица отца, вбежала смело, обняла его и, смеясь, повисла у него на шее, как всегда, радуясь на знакомый запах духов, распространявшийся от его бакенбард. Поцеловав его, наконец, в покрасневшее от наклоненного положения и сияющее нежностью лицо, девочка разняла руки и хотела бежать назад; но отец удержал ее.

– Что мама? – сказал отец, водя рукой по гладкой нежной шейке дочери. – Здравствуй, – сказал он, улыбаясь здоровавшемуся мальчику.

Он сознавал, что меньше любил мальчика, и всегда старался быть ровен; но мальчик чувствовал это и не ответил улыбкой на холодную улыбку отца.

– Мама? Встала, – отвечала девочка.

Степан Аркадьич вздохнул. «Значит, опять не спала всю ночь», – подумал он.

– Что, она весела?

Девочка знала, что между отцом и матерью была ссора, и что мать не могла быть весела, и что отец должен знать это, и что он притворяется, спрашивая об этом так легко. И она покраснела за отца. Он тотчас же понял это и также покраснел.

– Не знаю, – сказала она. – Она не велела учиться, а велела идти гулять с мисс Гуль к бабушке.

– Ну, иди, Танчурочка моя. Ах да, постой, – сказал он, все-таки удерживая ее и глядя ее нежную ручку.

Он достал с камина, где вчера поставил, коробочку конфет и дал ей две, выбрав ее любимые, шоколадную и помадную.

– Грише? – сказала девочка, указывая на шоколадную.

– Да, да. – И еще раз погладив ее плечико, он поцеловал ее в корни волос, в шею и отпустил ее.

– Карета готова, – сказал Матвей. – Да просительница, – прибавил он.

– Давно тут? – спросил Степан Аркадьич.

– С полчаса.

– Сколько раз тебе приказано сейчас же докладывать!

– Надо же вам дать хоть кофею откушать, – сказал Матвей тем дружески грубым тоном, на который нельзя было сердиться.

– Ну, проси же скорее, – сказал Облонский, морщась от досады.

Просительница, штабс-капитанша Калинина, просила о невозможном и бестолковом; но Степан Аркадьич, по своему обыкновению, усадил ее, внимательно, не перебивая, выслушал ее и дал ей подробный совет, к кому и как обратиться, и даже бойко и складно своим крупным,

растянутым, красивым и четким почерком написал ей записочку к лицу, которое могло ей пособить. Отпустив штабс-капитаншу, Степан Аркадьич взял шляпу и остановился, припоминая, не забыл ли чего. Оказалось, что он ничего не забыл, кроме того, что хотел забыть, – жену.

«Ах, да!» Он опустил голову, и красивое лицо его приняло тоскливое выражение. «Пойти или не пойти?» – говорил он себе. И внутренний голос говорил ему, что ходить не надобно, что, кроме фальши, тут ничего быть не может, что поправить, починить их отношения невозможно, потому что невозможно сделать ее опять привлекательною и возбуждающею любовь или его сделать стариком, не способным любить. Кроме фальши и лжи, ничего не могло выйти теперь; а фальшь и ложь были противны его натуре.

«Однако когда-нибудь нужно; ведь не может же это так остаться», – сказал он, стараясь придать себе смелости. Он выпрямил грудь, вынул папироску, закурил, пыхнул два раза, бросил ее в перламутровую раковину-пепельницу, быстрыми шагами прошел мрачную гостиную и отворил другую дверь, в спальню жены.

IV

Дарья Александровна, в кофточке и с пришпиленными на затылке косами уже редких, когда-то густых и прекрасных волос, с осунувшимся, худым лицом и большими, выдававшимися от худобы лица, испуганными глазами, стояла среди разбросанных по комнате вещей перед открытой шифоньеркой, из которой она выбирала что-то. Услыхав шаги мужа, она остановилась, глядя на дверь и тщетно пытаясь придать своему лицу строгое и презрительное выражение. Она чувствовала, что боится его и боится предстоящего свидания. Она только что пыталась сделать то, что пыталась сделать уже десятый раз в эти три дня: отобрать детские и свои вещи, которые она увезет к матери, – и опять не могла на это решиться; но и теперь, как в прежние раза, она говорила себе, что это не может так остаться, что она должна предпринять что-нибудь, наказать, осрамить его, отомстить ему хоть малую часть той боли, которую он ей сделал. Она все еще говорила, что уедет от него, но чувствовала, что это невозможно; это было невозможно потому, что она не могла отвыкнуть считать его своим мужем и любить его. Кроме того, она чувствовала, что если здесь, в своем доме, она едва успевала ухаживать за своими пятью детьми, то им будет еще хуже там, куда она поедет со всеми ими. И то в эти три дня меньшей заболел оттого, что его накормили дурным бульоном, а остальные были вчера почти без обеда. Она чувствовала, что уехать невозможно; но, обманывая себя, она все-таки отбирала вещи и притворялась, что уедет.

Увидав мужа, она опустила руки в ящик шифоньерки, будто отыскивая что-то, и оглянулась на него, только когда он совсем вплоть подошел к ней. Но лицо ее, которому она хотела придать строгое и решительное выражение, выражало потерянность и страдание.

– Долли! – сказал он тихим, робким голосом. Он втянул голову в плечи и хотел иметь жалкий и покорный вид, но он все-таки сиял свежестью и здоровьем.

Она быстрым взглядом оглядела с головы до ног его сияющую свежестью и здоровьем фигуру. «Да, он счастлив и доволен! – подумала она, – а я?! И эта доброта противная, за которую все так любят его и хвалят; я ненавижу эту его доброту», – думала она. Рот ее сжался, мускул щеки затрясся на правой стороне бледного, нервного лица.

– Что вам нужно? – сказала она быстрым, не своим, грудным голосом.

– Долли! – повторил он с дрожанием голоса. – Анна приедет нынче.

– Ну что же мне? Я не могу ее принять! – вскрикнула она.

– Но надо же, однако, Долли...

– Уйдите, уйдите, уйдите! – не глядя на него, вскрикнула она, как будто крик этот был вызван физической болью.

Степан Аркадьич мог быть спокоен, когда он думал о жене, мог надеяться, что все *образуется*, по выражению Матвея, и мог спокойно читать газету и пить кофе; но когда он увидел ее измученное, страдальческое лицо, услышал этот звук голоса, покорный и отчаянный, ему захватило дыхание, что-то подступило к горлу, и глаза его заблестели слезами.

– Боже мой, что я сделал! Долли! Ради бога!.. Ведь... – Он не мог продолжать, рыдание остановилось у него в горле.

Она захлопнула шифоньерку и взглянула на него.

– Долли, что я могу сказать?... Одно: прости, прости... Вспомни, разве девять лет жизни не могут искупить минуты, минуты...

Она стояла, опустив глаза, и слушала, ожидая, что он скажет, как будто умоляя его о том, чтобы он как-нибудь разуверил ее.

– Минуты... минуты увлечения... – выговорил он и хотел продолжать, но при этом слове, будто от физической боли, опять поджались ее губы и опять запрыгал мускул щеки на правой стороне лица.

– Уйдите, уйдите отсюда! – закричала она еще пронзительнее, – и не говорите мне про ваши увлечения, про ваши мерзости!

Она хотела уйти, но пошатнулась и взялась за спинку стула, чтоб опереться. Лицо его расширилось, губы распухли, глаза налились слезами.

– Долли! – проговорил он, уже всхлипывая. – Ради бога, подумай о детях, они не виноваты. Я виноват, и накажи меня, вели мне искупить свою вину. Чем я могу, я все готов! Я виноват, нет слов сказать, как я виноват! Но, Долли, прости!

Она села. Он слышал ее тяжелое, громкое дыхание, и ему было невыразимо жалко ее. Она несколько раз хотела начать говорить, но не могла. Он ждал.

– Ты помнишь детей, чтоб играть с ними, а я помню и знаю, что они погибли теперь, – сказала она, видимо, одну из фраз, которые она за эти три дня не раз говорила себе.

Она сказала ему «ты», и он с благодарностью взглянул на нее и тронулся, чтобы взять ее руку, но она с отвращением отстранилась от него.

– Я помню про детей и поэтому все в мире сделала бы, чтобы спасти их; но я сама не знаю, чем я спасу их: тем ли, что увезу от отца, или тем, что оставлю с развратным отцом, – да, с развратным отцом... Ну, скажите, после того... что было, разве возможно нам жить вместе? Разве это возможно? Скажите же, разве это возможно? – повторяла она, возвышая голос. – После того как мой муж, отец моих детей, входит в любовную связь с гувернанткой своих детей...

– Ну что ж... Ну что ж делать? – говорил он жалким голосом, сам не зная, что он говорит, и все ниже и ниже опуская голову.

– Вы мне гадки, отвратительны! – закричала она, горячась все более и более. – Ваши слезы – вода! Вы никогда не любили меня; в вас нет ни сердца, ни благородства! Вы мне мерзки, гадки, чужой, да, чужой! – с болью и злобой произносила она это ужасное для себя слово *чужой*.

Он поглядел на нее, и злоба, выразившаяся в ее лице, испугала и удивила его. Он не понимал того, что его жалость к ней раздражала ее. Она видела в нем к себе сожаленье, но не любовь. «Нет, она ненавидит меня. Она не простит», – подумал он.

– Это ужасно! Ужасно! – проговорил он.

В это время в другой комнате, вероятно упавши, закричал ребенок; Дарья Александровна прислушалась, и лицо ее вдруг смягчилось.

Она, видимо, опомнилась несколько секунд, как бы не зная, где она и что ей делать, и, быстро вставши, тронулась к двери.

«Ведь любит же она моего ребенка, – подумал он, заметив изменение ее лица при крике ребенка, – моего ребенка; как же она может ненавидеть меня?»

– Долли, еще одно слово, – проговорил он, идя за нею.

– Если вы пойдете за мной, я позову людей, детей! Пускай все знают, что вы подлец! Я уезжаю нынче, а вы живите здесь с своею любовницей!

И она вышла, хлопнув дверью.

Степан Аркадьич вздохнул, отер лицо и тихими шагами пошел из комнаты. «Матвей говорит: образуется; но как? Я не вижу даже возможности. Ах, ах, какой ужас! И как тривиально она кричала, – говорил он сам себе, вспоминая ее крик и слова: подлец и любовница. – И, может быть, девушки слышали! Ужасно тривиально, ужасно». Степан Аркадьич постоял несколько секунд один, отер глаза, вздохнул и, выпрямив грудь, вышел из комнаты.

Была пятница, и в столовой часовщик-немец заводил часы. Степан Аркадьич вспомнил свою шутку об этом аккуратном плешивом часовщике, что немец «сам был заведен на всю жизнь, чтобы заводиться часы», – и улыбнулся. Степан Аркадьич любил хорошую шутку. «А может быть, и образуется! Хорошо словечко: образуется, – подумал он. – Это надо рассказать».

– Матвей! – крикнул он, – так устрой же все там с Марьей в диванной для Анны Аркадьевны, – сказал он явившемуся Матвею.

– Слушаю-с.

Степан Аркадьич надел шубу и вышел на крыльцо.

– Кушать дома не будете? – сказал провожавший Матвей.

– Как придется. Да вот возьми на расходы, – сказал он, подавая десять рублей из бумажника. – Довольно будет?

– Довольно ли, не довольно, видно, обойтись надо, – сказал Матвей, захлопывая дверку и отступая на крыльцо.

Дарья Александровна между тем, успокоив ребенка и по звуку кареты поняв, что он уехал, вернулась опять в спальню. Это было единственное убежище ее от домашних забот, которые обступали ее, как только она выходила. Уже и теперь, в то короткое время, когда она выходила в детскую, англичанка и Матрена Филимоновна успели сделать ей несколько вопросов, не терпевших отлагательства и на которые она одна могла ответить: что надеть детям на гулянье? давать ли молоко? не послать ли за другим поваром?

– Ах, оставьте, оставьте меня! – сказала она и, вернувшись в спальню, села опять на то же место, где она говорила с мужем, сжав исхудавшие руки с кольцами, спускавшимися с костлявых пальцев, и принялась перебирать в воспоминании весь бывший разговор. «Уехал! Но чем же кончил он с *нею*? – думала она. – Неужели он видаёт ее? Зачем я не спросила его? Нет, нет, сойтись нельзя. Если мы и останемся в одном доме – мы чужие. Навсегда чужие!» – повторила она опять с особенным значением это страшное для нее слово. «А как я любила, боже мой, как я любила его!.. Как я любила! И теперь разве я не люблю его? Не больше ли, чем прежде, я люблю его? Ужасно, главное, то...» – начала она, но не dokonчила своей мысли, потому что Матрена Филимоновна высунулась из двери.

– Уж прикажите за братом послать, – сказала она, – все он изготовит обед; а то, повчерашнему, до шести часов дети не евши.

– Ну, хорошо, я сейчас выйду и распоряжусь. Да послали ли за свежим молоком?

И Дарья Александровна погрузилась в заботы дня и потопила в них на время свое горе.

V

Степан Аркадьич в школе учился хорошо благодаря своим хорошим способностям, но был ленив и шалун и потому вышел из последних, но, несмотря на свою всегда разгульную жизнь, небольшие чины и нестарые годы, занимал почетное и с хорошим жалованьем место начальника в одном из московских присутствий. Место это он получил чрез мужа сестры Анны, Алексея Александровича Каренина, занимавшего одно из важнейших мест в министерстве, к которому принадлежало присутствие; но если бы Каренин не назначил своего шурина на это место, то чрез сотню других лиц, братьев, сестер, родных, двоюродных, дядей, теток, Стива Облонский получил бы это место или другое подобное, тысяч в шесть жалованья, которые ему были нужны, так как дела его, несмотря на достаточное состояние жены, были расстроены.

Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадьича. Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали его в рубашечке; другая треть были с ним на «ты», а третья треть были хорошие знакомые; следовательно, раздаватели земных благ в виде мест, аренд, концессий и тому подобного все были ему приятели и не могли обойти своего; и Облонскому не нужно было особенно стараться, чтобы получить выгодное место; нужно было только не отказываться, не завидовать, не ссориться, не обижаться, чего он, по свойственной ему доброте, никогда и не делал. Ему бы смешно показалось, если б ему сказали, что он не получит места с тем жалованьем, которое ему нужно, тем более что он и не требовал чего-нибудь чрезвычайного; он хотел только того, что получали его сверстники, а исполнять такого рода должность мог он не хуже всякого другого.

Степана Аркадьича не только любили все знавшие его за его добрый, веселый нрав и несомненную честность, но в нем, в его красивой, светлой наружности, блестящих глазах, черных бровях, волосах, белизне и румянце лица, было что-то, физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним. «Ага! Стива! Облонский! Вот и он!» – почти всегда с радостною улыбкой говорили, встречаясь с ним. Если и случалось иногда, что после разговора с ним оказывалось, что ничего особенно радостного не случилось, – на другой день, на третий опять точно так же все радовались при встрече с ним.

Занимая третий год место начальника одного из присутственных мест в Москве, Степан Аркадьич приобрел, кроме любви, и уважение сослуживцев, подчиненных, начальников и всех, кто имел до него дело. Главные качества Степана Аркадьича, заслужившие ему это общее уважение по службе, состояли, во-первых, в чрезвычайной снисходительности к людям, основанной в нем на сознании своих недостатков; во-вторых, в совершенной либеральности, не той, про которую он вычитал в газетах, но той, что у него была в крови и с которою он совершенно равно и одинаково относился ко всем людям, какого бы состояния и звания они ни были, и, в-третьих, – главное – в совершенном равнодушии к тому делу, которым он занимался, вследствие чего он никогда не увлекался и не делал ошибок.

Приехав к месту своего служения, Степан Аркадьич, провожаемый почтительным швейцаром, с портфелем прошел в свой маленький кабинет, надел мундир и вошел в присутствие. Писцы и служащие все встали, весело и почтительно кланяясь. Степан Аркадьич поспешно, как всегда, прошел к своему месту, пожал руки членам и сел. Он пошутил и поговорил, ровно сколько это было прилично, и начал занятия. Никто вернее Степана Аркадьича не умел найти ту границу свободы, простоты и официальности, которая нужна для приятного занятия делами. Секретарь весело и почтительно, как и все в присутствии Степана Аркадьича, подошел с бумагами и проговорил тем фамильярно-либеральным тоном, который введен был Степаном Аркадьичем:

– Мы таки добились сведения из Пензенского губернского правления. Вот, не угодно ли...

– Получили наконец? – проговорил Степан Аркадьич, закладывая пальцем бумагу. – Ну-с, господа... – И присутствие началось.

«Если бы они знали, – думал он, с значительным видом склонив голову при слушании доклада, – каким виноватым мальчиком полчаса тому назад был их председатель!» – И глаза его смеялись при чтении доклада. До двух часов занятия должны были идти не прерываясь, а в два часа – перерыв и завтрак.

Еще не было двух часов, когда большие стеклянные двери залы присутствия вдруг открылись и кто-то вошел. Все члены из-под портрета и из-за зеркала, обрадовавшись развлечению, оглянулись на дверь; но сторож, стоявший у двери, тотчас же изгнал вошедшего и затворил за ним стеклянную дверь.

Когда дело было прочтено, Степан Аркадьич встал, потянувшись, и, отдавая дань либеральности времени, в присутствии достал папироску и пошел в свой кабинет. Два товарища его, старый служака Никитин и камер-юнкер Гриневич, вышли с ним.

– После завтрака успеем кончить, – сказал Степан Аркадьич.

– Как еще успеем! – сказал Никитин.

– А плут порядочный должен быть этот Фомин, – сказал Гриневич об одном из лиц, участвовавших в деле, которое они разбирали.

Степан Аркадьич поморщился на слова Гриневича, давая этим чувствовать, что неприлично преждевременно составлять суждение, и ничего ему не ответил.

– Кто это входил? – спросил он у сторожа.

– Какой-то, ваше превосходительство, без упроста влез, только я отвернулся. Вас спрашивали. Я говорю: когда выйдут члены, тогда...

– Где он?

– Нешто вышел в сени, а то все тут ходил. Этот самый, – сказал сторож, указывая на сильно сложенного широкоплечего человека с курчавой бородой, который, не снимая бараньей шапки, быстро и легко взбегал вверх по стертым ступенькам каменной лестницы. Один из сходивших вниз с портфелем худощавый чиновник, приостановившись, неодобрительно посмотрел на ноги бегущего и потом вопросительно взглянул на Облонского.

Степан Аркадьич стоял над лестницей. Добродушно сияющее лицо его из-за шитого воротника мундира просияло еще более, когда он узнал вбегавшего.

– Так и есть! Левин, наконец! – проговорил он с дружескою, насмешливою улыбкой, оглядывая подходившего к нему Левина. – Как это ты не побрезгал найти меня в этом вертепе? – сказал Степан Аркадьич, не довольствуясь пожатием руки и целуя своего приятеля. – Давно ли?

– Я сейчас приехал, и очень хотелось тебя видеть, – отвечал Левин, застенчиво и вместе с тем сердито и беспокойно оглядываясь вокруг.

– Ну, пойдем в кабинет, – сказал Степан Аркадьич, знавший самолюбивую и озлобленную застенчивость своего приятеля; и, схватив его за руку, он повлек его за собой, как будто проводя между опасностями.

Степан Аркадьич был на «ты» со всеми почти своими знакомыми: со стариками шестидесяти лет, с мальчиками двадцати лет, с актерами, с министрами, с купцами и с генерал-адъютантами, так что очень многие из бывших с ним на «ты» находились на двух крайних пунктах общественной лестницы и очень бы удивились, узнав, что имеют через Облонского что-нибудь общее. Он был на «ты» со всеми, с кем пил шампанское, а пил он шампанское со всеми, и поэтому, в присутствии своих подчиненных встречаясь с своими постыдными «ты», как он называл шутя многих из своих приятелей, он, со свойственным ему тактом, умел уменьшать неприятность этого впечатления для подчиненных. Левин не был постыдный «ты», но Облон-

ский с своим тактом почувствовал, что Левин думает, что он пред подчиненными может не желать выказать свою близость с ним, и потому поторопился увести его в кабинет.

Левин был почти одних лет с Облонским и с ним на «ты» не по одному шампанскому. Левин был его товарищем и другом первой молодости. Они любили друг друга, несмотря на различие характеров и вкусов, как любят друг друга приятели, сошедшиеся в первой молодости. Но, несмотря на это, как часто бывает между людьми, избравшими различные роды деятельности, каждый из них, хотя, рассуждая, и оправдывал деятельность другого, в душе презирал ее. Каждому казалось, что та жизнь, которую он сам ведет, есть одна настоящая жизнь, а которую ведет приятель – есть только призрак. Облонский не мог удержать легкой насмешливой улыбки при виде Левина. Уж который раз он видел его приезжавшим в Москву из деревни, где он что-то делал, но что именно, того Степан Аркадьич никогда не мог понять хорошенько, да и не интересовался. Левин приезжал в Москву всегда взволнованный, торопливый, немножко стесненный и раздраженный этою стесненностью и большею частью с совершенно новым, неожиданным взглядом на вещи. Степан Аркадьич смеялся над этим и любил это. Точно так же и Левин в душе презирал и городской образ жизни своего приятеля, и его службу, которую считал пустяками, и смеялся над этим. Но разница была в том, что Облонский, делая, что все делают, смеялся самоуверенно и добродушно, а Левин не самоуверенно и иногда сердито.

– Мы тебя давно ждали, – сказал Степан Аркадьич, войдя в кабинет и выпустив руку Левина, как бы этим показывая, что тут опасности кончились. – Очень, очень рад тебя видеть, – продолжал он. – Ну, что ты? Как? Когда приехал?

Левин молчал, поглядывая на незнакомые ему лица двух товарищей Облонского и в особенности на руку элегантного Гриневича, с такими белыми тонкими пальцами, с такими длинными желтыми, загигавшимися в конце ногтями и такими огромными блестящими запонками на рубашке, что эти руки, видимо, поглощали все его внимание и не давали ему свободы мысли. Облонский тотчас заметил это и улыбнулся.

– Ах да, позвольте вас познакомить, – сказал он. – Мои товарищи: Филипп Иваныч Никитин, Михаил Станиславич Гриневич, – и обратившись к Левину: – Земский деятель, новый земский человек, гимнаст, поднимающий одною рукой пять пудов, скотовод и охотник и мой друг, Константин Дмитрич Левин, брат Сергея Иваныча Кознышева.

– Очень приятно, – сказал старичок.

– Имею честь знать вашего брата, Сергея Иваныча, – сказал Гриневич, подавая свою тонкую руку с длинными ногтями.

Левин нахмурился, холодно пожал руку и тотчас же обратился к Облонскому. Хотя он имел большое уважение к своему, известному всей России, одноутробному брату писателю, однако он терпеть не мог, когда к нему обращались не как к Константину Левину, а как к брату знаменитого Кознышева.

– Нет, я уже не земский деятель. Я со всеми разбранился и не езжу больше на собрания, – сказал он, обращаясь к Облонскому.

– Скоро же! – с улыбкой сказал Облонский. – Но как? отчего?

– Длинная история. Я расскажу когда-нибудь, – сказал Левин, но сейчас же стал рассказывать. – Ну, коротко сказать, я убедился, что никакой земской деятельности нет и быть не может, – заговорил он, как будто кто-то сейчас обидел его, – с одной стороны, игрушки, играют в парламент, а я ни достаточно молод, ни достаточно стар, чтобы забавляться игрушками; а с другой (он заикнулся) стороны, это – средство для уездной *coterie*² наживать деньжонки. Прежде опеки, суды, а теперь земство... не в виде взяток, а в виде незаслуженного

² Здесь: шайки (франц.).

жалованья, – говорил он так горячо, как будто кто-нибудь из присутствовавших оспаривал его мнение.

– Эге-ге! Да ты, я вижу, опять в новой фазе, в консервативной, – сказал Степан Аркадьич. – Но, впрочем, после об этом.

– Да, после. Но мне нужно было тебя видеть, – сказал Левин, с ненавистью вглядываясь в руку Гриневича.

Степан Аркадьич чуть заметно улыбнулся.

– Как же ты говорил, что никогда больше не наденешь европейского платья? – сказал он, оглядывая его новое, очевидно от французского портного, платье. – Так! я вижу: новая фаза.

Левин вдруг покраснел, но не так, как краснеют взрослые люди, – слегка, сами того не замечая, но так, как краснеют мальчишки, – чувствуя, что они смешны своей застенчивостью, и вследствие того стыдась и краснея еще больше, почти до слез. И так странно было видеть это умное, мужественное лицо в таком детском состоянии, что Облонский перестал смотреть на него.

– Да, где ж увидимся? Ведь мне очень, очень нужно поговорить с тобою, – сказал Левин. Облонский как будто задумался.

– Вот что: поедem к Турину завтракать и там поговорим. До трех я свободен.

– Нет, – подумав, ответил Левин, – мне еще надо съездить.

– Ну, хорошо, так обедать вместе.

– Обедать? Да мне ведь ничего особенного, только два слова сказать, спросить, а после потолкуем.

– Так сейчас и скажи два слова, а беседовать за обедом.

– Два слова вот какие, – сказал Левин, – впрочем, ничего особенного.

Лицо его вдруг приняло злое выражение, происходившее от усилия преодолеть свою застенчивость.

– Что Щербацкие делают? Все по-старому? – сказал он.

Степан Аркадьич, знавший уже давно, что Левин был влюблен в его свояченицу Кити, чуть заметно улыбнулся, и глаза его весело заблестели.

– Ты сказал два слова, а я в двух словах ответить не могу, потому что... Извини на минутку...

Вошел секретарь с фамильярной почтительностью и некоторым, общим всем секретарям, скромным сознанием своего превосходства пред начальником в знании дел, подошел с бумагами к Облонскому и стал, под видом вопроса, объяснять какое-то затруднение. Степан Аркадьич, не дослушав, положил ласково свою руку на рукав секретаря.

– Нет, вы уж так сделайте, как я говорил, – сказал он, улыбкой смягчая замечание, и, кратко объяснив ему, как он понимает дело, отодвинул бумаги и сказал: – Так и сделайте, пожалуйста. Пожалуйста, так, Захар Никитич.

Сконфуженный секретарь удалился. Левин, во время совещания с секретарем совершенно оправившись от своего смущения, стоял, облокотившись обеими руками на стул, и на лице его было насмешливое внимание.

– Не понимаю, не понимаю, – сказал он.

– Чего ты не понимаешь? – так же весело улыбаясь и доставая папироску, сказал Облонский. Он ждал от Левина какой-нибудь странной выходки.

– Не понимаю, что вы делаете, – сказал Левин, пожимая плечами. – Как ты можешь это серьезно делать?

– Отчего?

– Да оттого, что нечего делать.

– Ты так думаешь, но мы завалены делом.

– Бумажным. Ну да, у тебя дар к этому, – прибавил Левин.

– То есть ты думаешь, что у меня есть недостаток чего-то?

– Может быть, и да, – сказал Левин. – Но все-таки я люблю на твое величие и горжусь, что у меня друг такой великий человек. Однако ты мне не ответил на мой вопрос, – прибавил он, с отчаянным усилием прямо глядя в глаза Облонскому.

– Ну, хорошо, хорошо. погоди еще, и ты придешь к этому. Хорошо, как у тебя три тысячи десятин в Каразинском уезде, да такие мускулы, да свежесть, как у двенадцатилетней девочки, – а придешь и ты к нам. Да, так о том, что ты спрашивал: перемены нет, но жаль, что ты так давно не был.

– А что? – испуганно спросил Левин.

– Да ничего, – отвечал Облонский. – Мы поговорим. Да ты зачем, собственно, приехал?

– Ах, об этом тоже поговорим после, – опять до ушей покраснев, сказал Левин.

– Ну хорошо. Понятно, – сказал Степан Аркадьич. – Ты видишь ли: я бы позвал к себе, но жена не совсем здорова. А вот что: если ты хочешь их видеть, они, наверное, нынче в Зоологическом саду от четырех до пяти. Кити на коньках катается. Ты поезжай туда, а я заеду, и вместе куда-нибудь обедать.

– Прекрасно. Ну, до свидания.

– Смотри же, ты ведь, я тебя знаю, забудешь или вдруг уедешь в деревню! – смеясь, прокричал Степан Аркадьич.

– Нет, верно.

И, вспомнив о том, что он забыл поклониться товарищам Облонского, только когда он был уже в дверях, Левин вышел из кабинета.

– Должно быть, очень энергический господин, – сказал Гриневич, когда Левин вышел.

– Да, батюшка, – сказал Степан Аркадьич, покачивая головой, – вот счастливец! Три тысячи десятин в Каразинском уезде, все впереди, и свежести сколько! Не то что наш брат.

– Что ж вы-то жалуетесь, Степан Аркадьич?

– Да скверно, плохо, – сказал Степан Аркадьич, тяжело вздохнув.

VI

Когда Облонский спросил у Левина, зачем он, собственно, приехал, Левин покраснел и рассердился на себя за то, что покраснел, потому что он не мог ответить ему: «Я приехал сделать предложение твоей свояченице», хотя он приехал только за этим.

Дома Левиных и Щербацких были старые дворянские московские дома и всегда были между собою в близких и дружеских отношениях. Связь эта утвердилась еще больше во время студенчества Левина. Он вместе готовился и вместе поступил в университет с молодым князем Щербацким, братом Долли и Кити. В это время Левин часто бывал в доме Щербацких и влюбился в дом Щербацких. Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких. Сам Левин не помнил своей матери, и единственная сестра его была старше его, так что в доме Щербацких он в первый раз увидел ту самую среду старого дворянского, образованного и честного семейства, которой он был лишен смертью отца и матери. Все члены этой семьи, в особенности женская половина, представлялись ему покрытыми какою-то таинственной, поэтической завесой, и он не только не видел в них никаких недостатков, но под этой поэтической, покрывавшею их завесой предполагал самые возвышенные чувства и всевозможные совершенства. Для чего этим трем барышням и нужно было говорить через день по-французски и по-английски; для чего они в известные часы играли попеременно на фортепиано, звуки которого всегда слышались у брата наверху, где занимались студенты; для чего ездили эти учителя французской литературы, музыки, рисованья, танцев; для чего в известные часы все три барышни с m-lle Linon подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках – Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Кити совершенно в короткой, так что статные ножки ее в туго натянутых красных чулках были на всем виду; для чего им, в сопровождении лакея с золотой кокардой на шляпе, нужно было ходить по Тверскому бульвару, – всего этого и многого другого, что делалось в их таинственном мире, он не понимал, но знал, что все, что там делалось, было прекрасно, и был влюблен именно в эту таинственность совершавшегося.

Во время своего студенчества он чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал было влюбляться во вторую. Он как будто чувствовал, что ему надо влюбиться в одну из сестер, только не мог разобрать, в какую именно. Но и Натали, только что показалась в свет, вышла замуж за дипломата Львова. Кити еще была ребенок, когда Левин вышел из университета. Молодой Щербацкий, поступив в моряки, утонул в Балтийском море, и сношения Левина с Щербацкими, несмотря на дружбу его с Облонским, стали более редки. Но когда в нынешнем году, в начале зимы, Левин приехал в Москву после года в деревне и увидел Щербацких, он понял, в кого из трех ему действительно суждено было влюбиться.

Казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, хорошей породы, скорее богачу, чем бедному человеку, тридцати двух лет сделать предложение княжне Щербацкой; по всем вероятностям, его тотчас признали бы хорошею партией. Но Левин был влюблен, и поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо превыше всего земного, а он такое земное низменное существо, что не могло быть и мысли о том, чтобы другие и она сама признали его достойным ее.

Пробыв в Москве, как в чадy, два месяца, почти каждый день видаясь с Кити в свете, куда он стал ездить, чтобы встречаться с нею, Левин внезапно решил, что этого не может быть, и уехал в деревню.

Убеждение Левина в том, что этого не может быть, основывалось на том, что в глазах родных он невыгодная, недостойная партия для прелестной Кити, а сама Кити не может любить его. В глазах родных он не имел никакой привычной, определенной деятельности и положения

в свете, тогда как его товарищи теперь, когда ему было тридцать два года, были уже – который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который почтенный предводитель – директор банка и железных дорог или председатель присутствия, как Облонский; он же (он знал очень хорошо, каким он должен был казаться для других) был помещик, занимающийся разведением коров, стрелянием дупелей и постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло, и делающий, по понятиям общества, то самое, что делают никуда не годившиеся люди.

Сама же таинственная прелестная Кити не могла любить такого некрасивого, каким он считал себя, человека, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося человека. Кроме того, его прежние отношения к Кити – отношения взрослого к ребенку, вследствие дружбы с ее братом, – казались ему еще новою преградой для любви. Некрасивого, доброго человека, каким он себя считал, можно, полагал он, любить как приятеля, но, чтобы быть любимым тою любовью, какою он любил Кити, нужно было быть красавцем, а главное – особенным человеком.

Слышал он, что женщины любят часто некрасивых, простых людей, но не верил этому, потому что судил по себе, так как сам он мог любить только красивых, таинственных и особенных женщин.

Но, пробыв два месяца один в деревне, он убедился, что это не было одно из тех влюблений, которые он испытывал в первой молодости; что чувство это не давало ему минуты покоя; что он не мог жить, не решив вопроса: будет или не будет она его женой; и что его отчаяние происходило только от его воображения, что он не имеет никаких доказательств в том, что ему будет отказано. И он приехал теперь в Москву с твердым решением сделать предложение и жениться, если его примут. Или... он не мог думать о том, что с ним будет, если ему откажут.

VII

Приехав с утренним поездом в Москву, Левин остановился у своего старшего брата по матери Кознышева и, переодевшись, вошел к нему в кабинет, намереваясь тотчас же рассказать ему, для чего он приехал, и просить его совета: но брат был не один. У него сидел известный профессор философии, приехавший из Харькова, собственно, затем, чтобы разъяснить недо-разумение, возникшее между ними по весьма важному философскому вопросу. Профессор вел жаркую полемику против материалистов, а Сергей Кознышев с интересом следил за этою полемикой и, прочтя последнюю статью профессора, написал ему в письме свои возражения; он упрекал профессора за слишком большие уступки материалистам. И профессор тотчас же приехал, чтобы столкнуться. Речь шла о модном вопросе: есть ли граница между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека и где она?

Сергей Иванович встретил брата своего обычною для всех ласково-холодною улыбкой и, познакомив его с профессором, продолжал разговор.

Маленький желтый человечек в очках, с узким лбом, на мгновение отвлекся от разговора, чтобы поздороваться, и продолжал речь, не обращая внимания на Левина. Левин сел в ожидании, когда уедет профессор, но скоро заинтересовался предметом разговора.

Левин встречал в журналах статьи, о которых шла речь, и читал их, интересуясь ими, как развитием знакомых ему, как естественнику, по университету основ естествознания, но никогда не сближал этих научных выводов о происхождении человека как животного, о рефлексах, о биологии и социологии с теми вопросами о значении жизни и смерти для себя самого, которые в последнее время чаще и чаще приходили ему на ум.

Слушая разговор брата с профессором, он замечал, что они связывали научные вопросы с душевными, несколько раз почти подходили к этим вопросам, но каждый раз, как только они подходили близко к самому главному, как ему казалось, они тотчас же поспешно отдалялись и опять углублялись в область тонких подразделений, оговорок, цитат, намеков, ссылок на авторитеты, и он с трудом понимал, о чем речь.

– Я не могу допустить, – сказал Сергей Иванович с обычною ему ясностью и отчетливостью выражения и изяществом дикции, – я не могу ни в каком случае согласиться с Кейсом, чтобы все мое представление о внешнем мире вытекало из впечатлений. Самое основное понятие *бытия* получено мною не чрез ощущение, ибо нет и специального органа для передачи этого понятия.

– Да, но они, Вурст, и Кнауэ, и Припасов, ответят вам, что ваше сознание бытия вытекает из совокупности всех ощущений, что это сознание бытия есть результат ощущений. Вурст даже прямо говорит, что, коль скоро нет ощущения, нет и понятия бытия.

– Я скажу наоборот, – начал Сергей Иванович...

Но тут Левину опять показалось, что они, подойдя к самому главному, опять отходят, и решился предложить профессору вопрос.

– Стало быть, если чувства мои уничтожены, если тело мое умрет, существования никакого уж не может быть? – спросил он.

Профессор с досадою и как будто умственной болью от перерыва оглянулся на странного вопрошателя, похожего более на бурлака, чем на философа, и перенес глаза на Сергея Ивановича, как бы спрашивая: что ж тут говорить? Но Сергей Иванович, который далеко не с тем усилием и односторонностью говорил, как профессор, и у которого в голове оставался простор для того, чтоб и отвечать профессору, и вместе понимать ту простую и естественную точку зрения, с которой был сделан вопрос, улыбнулся и сказал:

– Этот вопрос мы не имеем еще права решать...

– Не имеем данных, – подтвердил профессор и продолжал свои доводы. – Нет, – говорил он, – я указываю на то, что если, как прямо говорит Припасов, ощущение и имеет своим основанием впечатление, то мы должны строго различать эти два понятия.

Левин не слушал больше и ждал, когда уедет профессор.

VIII

Когда профессор уехал, Сергей Иванович обратился к брату:

– Очень рад, что ты приехал. Надолго? Что хозяйство?

Левин знал, что хозяйство мало интересует старшего брата и что он, только делая ему уступку, спросил его об этом, и потому ответил только о продаже пшеницы и деньгах.

Левин хотел сказать брату о своем намерении жениться и спросить его совета, он даже твердо решился на это; но когда он увидел брата, послушал его разговора с профессором, когда услышал потом этот невольно покровительственный тон, с которым брат расспрашивал его о хозяйственных делах (материнское имение их было неделимое, и Левин заведовал обеими частями), Левин почувствовал, что не может почему-то начать говорить с братом о своем решении жениться. Он чувствовал, что брат его не так, как ему бы хотелось, посмотрит на это.

– Ну, что у вас земство, как? – спросил Сергей Иванович, который очень интересовался земством и приписывал ему большое значение.

– А, право, не знаю...

– Как? Ведь ты член управы?

– Нет, уже не член; и вышел, – отвечал Константин Левин, – и не езжу больше на собрания.

– Жалко! – промолвил Сергей Иванович, нахмурившись.

Левин в оправдание стал рассказывать, что делалось на собраниях в его уезде.

– Вот это всегда так! – перебил его Сергей Иванович. – Мы, русские, всегда так. Может быть, это и хорошая наша черта – способность видеть свои недостатки, но мы пересаливаем, мы утешаемся иронией, которая у нас всегда готова на языке. Я скажу тебе только, что дай эти же права, как наши земские учреждения, другому европейскому народу, – немцы и англичане выработали бы из них свободу, а мы вот только смеемся.

– Но что же делать? – виновато сказал Левин. – Это был мой последний опыт. И я от всей души пытался. Не могу. Неспособен.

– Не способен, – сказал Сергей Иванович, – ты не так смотришь на дело.

– Может быть, – уныло отвечал Левин.

– А ты знаешь, брат Николай опять тут.

Брат Николай был родной и старший брат Константина Левина и одноутробный брат Сергея Ивановича, погибший человек, промотавший большую долю своего состояния, враждавшийся в самом странном и дурном обществе и поссорившийся с братьями.

– Что ты говоришь? – с ужасом вскрикнул Левин. – Почему ты знаешь?

– Прокофий видел его на улице.

– Здесь, в Москве? Где он? Ты знаешь? – Левин встал со стула, как бы собираясь тотчас же идти.

– Я жалею, что сказал тебе это, – сказал Сергей Иванович, покачивая головой на волнение меньшего брата. – Я посылал узнать, где он живет, и послал ему вексель его Трубину, по которому я заплатил. Вот что он мне ответил.

И Сергей Иванович подал брату записку из-под пресс-папье.

Левин прочел написанное странным, родным ему почерком: «Прошу покорно оставить меня в покое. Это одно, чего я требую от своих любезных братцев. Николай Левин».

Левин прочел это и, не поднимая головы, с запиской в руках стоял пред Сергеем Ивановичем.

В душе его боролись желание забыть теперь о несчастном брате и сознание того, что это будет дурно.

– Он, очевидно, хочет оскорбить меня, – продолжал Сергей Иванович, – но оскорбить меня он не может, и я всей душой желал бы помочь ему, но знаю, что этого нельзя сделать.

– Да, да, – повторял Левин. – Я понимаю и ценю твое отношение к нему; но я поеду к нему.

– Если тебе хочется, съезди, но я не советую, – сказал Сергей Иванович. – То есть в отношении ко мне, я этого не боюсь, он тебя не поссорит со мной, но для тебя, я советую тебе лучше не ездить. Помочь нельзя. Впрочем, делай как хочешь.

– Может быть, и нельзя помочь, но я чувствую, особенно в эту минуту – ну да это другое – я чувствую, что я не могу быть спокоен.

– Ну, этого я не понимаю, – сказал Сергей Иванович. – Одно я понимаю, – прибавил он, – это урок смирения. Я иначе и снисходительнее стал смотреть на то, что называется подлостью, после того как брат Николай стал тем, что он есть... Ты знаешь, что он сделал...

– Ах, это ужасно, ужасно! – повторял Левин.

Получив от лакея Сергея Ивановича адрес брата, Левин тотчас же собрался ехать к нему, но, обдумав, решил отложить свою поездку до вечера. Прежде всего, для того чтобы иметь душевное спокойствие, надо было решить то дело, для которого он приехал в Москву. От брата Левин поехал в присутствие Облонского и, узнав о Щербацких, поехал туда, где ему сказали, что он может застать Кити.

IX

В 4 часа, чувствуя свое бьющееся сердце, Левин слез с извозчика у Зоологического сада и пошел дорожкой к горам и катку, наверное зная, что найдет ее там, потому что видел карету Щербацких у подъезда.

Был ясный морозный день. У подъезда рядами стояли кареты, сани, ваньки, жандармы. Чистый народ, блестя на ярком солнце шляпами, кишел у входа и по расчищенным дорожкам, между русскими домиками с резными князьками; старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы.

Он шел по дорожке к катку и говорил себе: «Надо не волноваться, надо успокоиться. О чем ты? Чего ты? Молчи, глупое, – обращался он к своему сердцу. И чем больше он старался себя успокоить, тем все хуже захватывало ему дыхание. Знакомый встретился и окликнул его, но Левин даже не узнал, кто это был. Он подошел к горам, на которых гремели цепи спускаемых и поднимаемых салазков, грохотали катившиеся салазки и звучали веселые голоса. Он прошел еще несколько шагов, и пред ним открылся каток, и тотчас же среди всех катавшихся он узнал ее.

Он узнал, что она тут, по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой, на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе; но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг. «Неужели я могу сойти туда, на лед, подойти к ней?» – подумал он. Место, где она была, показалось ему недоступною святыней, и была минута, что он чуть не ушел: так страшно ему стало. Ему нужно было сделать усилие над собой и рассудить, что около нее ходят всякого рода люди, что и сам он мог прийти туда кататься на коньках. Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя.

На льду собирались в этот день недели и в эту пору дня люди одного кружка, все знакомые между собою. Были тут и мастера кататься, щеголявшие искусством, и учившиеся за креслами, с робкими неловкими движениями, и мальчики, и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей; все казались Левину избранными счастливыми, потому что они были тут, вблизи от нее. Все катавшиеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли ее, даже говорили с ней и совершенно независимо от нее веселились, пользуясь отличным льдом и хорошею погодой.

Николай Щербацкий, двоюродный брат Кити, в коротенькой жакетке и узких панталонах, сидел с коньками на ногах на скамейке и, увидав Левина, закричал ему:

– А, первый русский конькобежец! Давно ли? Отличный лед, надевайте же коньки.

– У меня и коньков нет, – отвечал Левин, удивляясь этой смелости и развязности в ее присутствии и ни на секунду не теряя ее из вида, хотя и не глядел на нее. Он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Она была на угле и, тупо поставив узкие ножки в высоких ботинках, видимо робея, катилась к нему. Отчаянно махавший руками и пригибавшийся к земле мальчик в русском платье обгонял ее. Она катилась не совсем твердо; вынув руки из маленькой муфты, висевшей на шнурке, она держала их наготове и, глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху. Когда поворот кончился, она дала себе толчок упругою ножкой и подкатилась прямо к Щербацкому; и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину. Она была прекраснее, чем он воображал ее.

Когда он думал о ней, он мог себе живо представить ее всю, в особенности прелесть этой, с выражением детской ясности и доброты, небольшой белокурой головки, так свободно поставленной на статных девичьих плечах. Детскость выражения ее лица в соединении с тонкой красотой стана составляли ее особенную прелесть, которую он хорошо помнил; но что

всегда, как неожиданность, поражало в ней, это было выражение ее глаз, кротких, спокойных и правдивых, и в особенности ее улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир, где он чувствовал себя умиленным и смягченным, каким он мог запомнить себя в редкие дни своего раннего детства.

– Давно ли вы здесь? – сказала она, подавая ему руку. – Благодарствуйте, – прибавила она, когда он поднял платок, выпавший из ее муфты.

– Я? я недавно, я вчера... нынче то есть... приехал, – отвечал Левин, не вдруг от волнения поняв ее вопрос. – Я хотел к вам ехать, – сказал он и тотчас же, вспомнив, с каким намерением он искал ее, смутился и покраснел. – Я не знал, что вы катаетесь на коньках, и прекрасно катаетесь.

Она внимательно посмотрела на него, как бы желая понять причину его смущения.

– Вашу похвалу надо ценить. Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец, – сказала она, стряхивая маленькую ручкой в черной перчатке иглы и нити, упавшие на муфту.

– Да, я когда-то со страстью катался; мне хотелось дойти до совершенства.

– Вы все, кажется, делаете со страстью, – сказала она, улыбаясь. – Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки, и давайте кататься вместе.

«Кататься вместе! Неужели это возможно?» – думал Левин, глядя на нее.

– Сейчас надену, – сказал он.

И он пошел надевать коньки.

– Давно не бывали у нас, сударь, – говорил катальщик, поддерживая ногу и навинчивая каблук. – После вас никого из господ мастеров нету. Хорошо ли так будет? – говорил он, натягивая ремень.

– Хорошо, хорошо, поскорей, пожалуйста, – отвечал Левин, с трудом удерживая улыбку счастья, выступавшую невольно на его лице. «Да, – думал он, – вот это жизнь, вот это счастье! Вместе, сказала она, давайте *кататься вместе*. Сказать ей теперь? Но ведь я оттого и боюсь сказать, что теперь я счастлив, счастлив хоть надеждой... А тогда?... Но надо же! надо, надо! Прочь слабость!»

Левин стал на ноги, снял пальто и, разбежавшись по шершавому у домика льду, выбежал на гладкий лед и покатился без усилия, как будто одною своею волей убыстряя, укорачивая и направляя бег. Он приблизился к ней с робостью, но опять ее улыбка успокоила его.

Она подала ему руку, и они пошли рядом, прибавляя хода, и чем быстрее, тем крепче она сжимала его руку.

– С вами я бы скорее выучилась, я почему-то уверена в вас, – сказала она ему.

– И я уверен в себе, когда вы опираетесь на меня, – сказал он, но тотчас же испугался того, что сказал, и покраснел. И действительно, как только он произнес эти слова, вдруг, как солнце зашло за тучи, лицо ее утратило всю свою ласковость, и Левин узнал знакомую игру ее лица, означавшую усилие мысли: на гладком лбу ее вспухла морщинка.

– У вас нет ничего неприятного? Впрочем, я не имею права спрашивать, – быстро проговорил он.

– Отчего же?... Нет, у меня ничего нет неприятного, – отвечала она холодно и тотчас же прибавила: – Вы не видели mademoiselle Linon?

– Нет еще.

– Подите к ней, она так вас любит.

«Что это? Я огорчил ее. Господи, помоги мне!» – подумал Левин и побежал к старой француженке с седыми буколями, сидевшей на скамейке. Улыбаясь и выставляя свои фальшивые зубы, она встретила его, как старого друга.

– Да, вот растем, – сказала она ему, указывая глазами на Кити, – и стареем. Tiny bear³ уже стал большой! – продолжала француженка, смеясь, и напредила ему его шутку о трех барышнях, которых он называл тремя медведями из английской сказки. – Помните, вы, бывало, так говорили?

Он решительно не помнил этого, но она уже лет десять смеялась этой шутке и любила ее.

– Ну, идите, идите кататься. А хорошо стала кататься наша Кити, не правда ли?

Когда Левин опять подбежал к Кити, лицо ее уже было не строго, глаза смотрели так же правдиво и ласково, но Левину показалось, что в ласковости ее был особенный, умышленно спокойный тон. И ему стало грустно. Поговорив о своей старой гувернантке, о ее странностях, она спросила его о его жизни.

– Неужели вам не скучно зимою в деревне? – сказала она.

– Нет, не скучно, я очень занят, – сказал он, чувствуя, что она подчиняет его своему спокойному тону, из которого он не в силах будет выйти, так же как это было в начале зимы.

– Вы надолго приехали? – спросила его Кити.

– Я не знаю, – отвечал он, не думая о том, что говорит. Мысль о том, что если он поддается этому ее тону спокойной дружбы, то он опять уедет, ничего не решив, пришла ему, и он решился возмутиться.

– Как не знаете?

– Не знаю. Это от вас зависит, – сказал он и тотчас же ужаснулся своим словам.

Не слыхала ли она его слов или не хотела слышать, но она как бы спотыкнулась, два раза стукнув ножкой, и поспешно покатила прочь от него. Она подкатилась к m-lle Linon, что-то сказала ей и направила к домику, где дамы снимали коньки.

«Боже мой, что я сделал! Господи боже мой! помоги мне, научи меня», – говорил Левин, молясь и вместе с тем чувствуя потребность сильного движения, разбегаясь и выписывая внешние и внутренние круги.

В это время один из молодых людей, лучший из новых конькобежцев, с папироской во рту, в коньках, вышел из кофейной и, разбежавшись, пустился на коньках вниз по ступеням, громыхая и подпрыгивая. Он влетел вниз и, не изменив даже свободного положения рук, покати́лся по льду.

– Ах, это новая штука! – сказал Левин и тотчас же побежал наверх, чтобы сделать эту новую штуку.

– Не убейтесь, надо привычку! – крикнул ему Николай Щербакский.

Левин вошел на приступки, разбежался сверху сколько мог и пустился вниз, удерживая в непривычном движении равновесие руками. На последней ступени он зацепился, но, чуть дотронувшись до льда рукой, сделал сильное движение, справился и, смеясь, покати́лся дальше.

«Славный, милый», – подумала Кити в это время, выходя из домика с m-lle Linon и глядя на него с улыбкою тихой ласки, как на любимого брата. «И неужели я виновата, неужели я сделала что-нибудь дурное? Они говорят: кокетство. Я знаю, что я люблю не его; но мне все-таки весело с ним, и он такой славный. Только зачем он это сказал?...» – думала она.

Увидав уходившую Кити и мать, встречавшую ее на ступеньках, Левин, покрасневший после быстрого движения, остановился и задумался. Он снял коньки и догнал у выхода сада мать с дочерью.

– Очень рада вас видеть, – сказала княгиня. – Четверги, как всегда, мы принимаем.

– Стало быть, нынче?

– Очень рады будем видеть вас, – сухо сказала княгиня.

³ Медвежонок (англ.).

Сухость эта огорчила Кити, и она не могла удержаться от желания загладить холодность матери. Она повернула голову и с улыбкой проговорила:

– До свидания.

В это время Степан Аркадьич, со шляпой на боку, блестя лицом и глазами, веселым победителем входил в сад. Но, подойдя к теще, он с грустным, виноватым лицом отвечал на ее вопросы о здоровье Долли. Поговорив тихо и уныло с тещей, он выпрямил грудь и взял под руку Левина.

– Ну что ж, едем? – спросил он. – Я все о тебе думал, и я очень, очень рад, что ты приехал, – сказал он, с значительным видом глядя ему в глаза.

– Едем, едем, – отвечал счастливый Левин, не перестававший слышать звук голоса, сказавший: «До свидания», и видеть улыбку, с которою это было сказано.

– В «Англию» или в «Эрмитаж»?

– Мне все равно.

– Ну, в «Англию», – сказал Степан Аркадьич, выбрав «Англию» потому, что там он, в «Англии», был более должен, чем в «Эрмитаже». Он потому считал нехорошим избегать эту гостиницу. – У тебя есть извозчик? Ну и прекрасно, а то я отпустил карету.

Всю дорогу приятели молчали. Левин думал о том, что означала эта перемена выражения на лице Кити, и то уверял себя, что есть надежда, то приходил в отчаяние и ясно видел, что его надежда безумна, а между тем чувствовал себя совсем другим человеком, не похожим на того, каким он был до ее улыбки и слова *до свидания*.

Степан Аркадьич дорогой сочинял *меню*.

– Ты ведь любишь тюрбо? – сказал он Левину, подъезжая.

– Что? – переспросил Левин. – Тюрбо? Да, я ужасно люблю тюрбо.

Х

Когда Левин вошел с Облонским в гостиницу, он не мог не заметить некоторой особенности выражения, как бы сдержанного сияния, на лице и во всей фигуре Степана Аркадьича. Облонский снял пальто и в шляпе набекрень прошел в столовую, отдавая приказание липнувшему к нему татарам во фраках и с салфетками. Кланяясь направо и налево нашедшимся и тут, как везде, радостно встречавшим его знакомым, он подошел к буфету, закусил водку рыбкой и что-то такое сказал раскрашенной, в ленточках, кружевах и завитушках француженке, сидевшей за конторкой, что даже эта француженка искренно засмеялась. Левин же только оттого не выпил водки, что ему оскорбительна была эта француженка, вся составленная, казалось, из чужих волос, *poudre de riz* и *vinaigre de toilette*⁴. Он, как от грязного места, поспешно отошел от нее. Вся душа его была переполнена воспоминанием о Кити, и в глазах его светилась улыбка торжества и счастья.

– Сюда, ваше сиятельство, пожалуйста, здесь не беспокоят, ваше сиятельство, – говорил особенно липнувший старый белесый татарин с широким тазом и расходившимися над ним фалдами фрака. – Пожалуйста шляпу, ваше сиятельство, – говорил он Левину, в знак почтения к Степану Аркадьичу, ухаживая и за его гостем.

Мгновенно расстелив свежую скатерть на покрытый уже скатертью круглый стол под бронзовым бра, он пододвинул бархатные стулья и остановился пред Степаном Аркадьичем с салфеткой и карточкой в руках, ожидая приказаний.

– Если прикажете, ваше сиятельство, отдельный кабинет сейчас опростается: князь Голицын с дамой. Устрицы свежие получены.

– А! устрицы.

Степан Аркадьич задумался.

– Не изменить ли план, Левин? – сказал он, остановив палец на карте. И лицо его выражало серьезное недоумение. – Хороши ли устрицы? Ты смотри!

– Фленсбургские, ваше сиятельство, остендских нет.

– Фленсбургские-то фленсбургские, да свежи ли?

– Вчера получены-с.

– Так что ж, не начать ли с устриц, а потом уж и весь план изменить? А?

– Мне все равно. Мне лучше всего щи и каша; но ведь здесь этого нет.

– Каша а ла русс, прикажете? – сказал татарин, как няня над ребенком, нагибаясь над Левиным.

– Нет, без шуток; что ты выберешь, то и хорошо. Я побегал на коньках, и есть хочется. И не думай, – прибавил он, заметив на лице Облонского недовольное выражение, – чтоб я не оценил твоего выбора. Я с удовольствием поем хорошо.

– Еще бы! Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, – сказал Степан Аркадьич. – Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц два, или мало – три десятка, суп с кореньями...

– Прентаньер, – подхватил татарин. Но Степан Аркадьич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанья.

– С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом... ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов.

Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть кушанья по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: «Суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрүйи...» – и тотчас, как на

⁴ Рисовой пудры и туалетного уксуса (франц.).

пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую, карту вин, поднес ее Степану Аркадьичу.

- Что же пить будем?
- Я что хочешь, только немного, шампанское, – сказал Левин.
- Как? сначала? А впрочем, правда, пожалуй. Ты любишь с белой печатью?
- Каше блан, – подхватил татарин.
- Ну, так этой марки к устрицам подай, а там видно будет.
- Слушаю-с. Столового какого прикажете?
- Ньюи подай. Нет, уж лучше классический шабли.
- Слушаю-с. Сыру *вашего* прикажете?
- Ну да, пармезан. Или ты другой любишь?
- Нет, мне все равно, – не в силах удерживать улыбки, говорил Левин.

И татарин с развевающимися фалдами над широким тазом побежал и чрез пять минут влетел с блюдом открытых на перламутровых раковинах устриц и с бутылкой между пальцами.

Степан Аркадьич смял накрахмаленную салфетку, засунул ее себе за жилет и, положив покойно руки, взялся за устрицы.

– А недурны, – говорил он, сдирая серебряною вилочкой с перламутровой раковины шлюпающих устриц и проглатывая их одну за другой. – Недурны, – повторял он, вскидывая влажные и блестящие глаза то на Левина, то на татарина.

Левин ел и устрицы, хотя белый хлеб с сыром был ему приятнее. Но он любовался на Облонского. Даже татарин, отвинтивший пробку и разливавший игристое вино по разлатым тонким рюмкам, с заметною улыбкой удовольствия, поправляя свой белый галстук, поглядывал на Степана Аркадьича.

– А ты не очень любишь устрицы? – сказал Степан Аркадьич, выпивая свой бокал, – или ты озабочен? А?

Ему хотелось, чтобы Левин был весел. Но Левин не то что был не весел, он был стеснен. С тем, что было у него в душе, ему жутко и неловко было в трактире, между кабинетами, где обедали с дамами, среди этой беготни и суетни; эта обстановка бронз, зеркал, газа, татар – все это было ему оскорбительно. Он боялся запачкать то, что переполняло его душу.

– Я? Да, я озабочен; но, кроме того, меня это все стесняет, – сказал он. – Ты не можешь представить себе, как для меня, деревенского жителя, все это дико, как ногти того господина, которого я видел у тебя...

– Да, я видел, что ногти бедного Гриневича тебя очень заинтересовали, – смеясь, сказал Степан Аркадьич.

– Не могу, – отвечал Левин. – Ты постарайся, войди в меня, стань на точку зрения деревенского жителя. Мы в деревне стараемся привести свои руки в такое положение, чтоб удобно было ими работать; для этого обстригаем ногти, засучиваем иногда рукава. А тут люди нарочно отпускают ногти, насколько они могут держаться, и прицепляют в виде запонок блюдечки, чтоб уж ничего нельзя было делать руками.

Степан Аркадьич весело улыбался.

– Да, это признак того, что грубый труд ему не нужен. У него работает ум...

– Может быть. Но все-таки мне дико, так же как мне дико теперь то, что мы, деревенские жители, стараемся поскорее наестся, чтобы быть в состоянии делать свое дело, а мы с тобой стараемся как можно дольше не наестся и для этого едим устрицы...

– Ну, разумеется, – подхватил Степан Аркадьич. – Но в этом-то и цель образования: из всего сделать наслаждение.

– Ну, если это цель, то я желал бы быть диким.

– Ты и так дик. Вы все, Левины, дики.

Левин вздохнул. Он вспомнил о брате Николае, и ему стало совестно и больно, и он нахмурился; но Облонский заговорил о таком предмете, который тотчас же отвлек его.

– Ну что ж, поедешь нынче вечером к нашим, к Щербацким то есть? – сказал он, отодвигая пустые шершавые раковины, придвигая сыр и значительно блестя глазами.

– Да, я непременно поеду, – отвечал Левин. – Хотя мне показалось, что княгиня неохотно звала меня.

– Что ты! Вздор какой! Это ее манера... Ну давай же, братец, суп!.. Это ее манера, *grand dame*⁵, – сказал Степан Аркадьич. – Я тоже приеду, но мне на спевку к графине Баниной надо. Ну как же ты не дик? Чем же объяснить то, что ты вдруг исчез из Москвы? Щербацкие меня спрашивали о тебе беспрестанно, как будто я должен знать. А я знаю только одно: ты делаешь всегда то, чего никто не делает.

– Да, – сказал Левин медленно и взволнованно. – Ты прав, я дик. Но только дикость моя не в том, что я уехал, а в том, что я теперь приехал. Теперь я приехал.

– О, какой ты счастливеец! – подхватил Степан Аркадьич, глядя в глаза Левину.

– Отчего?

– Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам, – продекламировал Степан Аркадьич. – У тебя все впереди.

– А у тебя разве уж назади?

– Нет, хоть не назади, но у тебя будущее, а у меня настоящее, и настоящее так, в пере-сыпочку.

– А что?

– Да нехорошо. Ну, да я о себе не хочу говорить, и к тому же объяснить всего нельзя, – сказал Степан Аркадьич. – Так ты зачем же приехал в Москву?... Эй, принимай! – крикнул он татарину.

– Ты догадываешься? – отвечал Левин, не спуская со Степана Аркадьича своих в глубине светящихся глаз.

– Догадываюсь, но не могу начать говорить об этом. Уж по этому ты можешь видеть, верно или не верно я догадываюсь, – сказал Степан Аркадьич, с тонкою улыбкой глядя на Левина.

– Ну что же ты скажешь мне? – сказал Левин дрожащим голосом и чувствуя, что на лице его дрожат все мускулы. – Как ты смотришь на это?

Степан Аркадьич медленно выпил свой стакан шабли, не спуская глаз с Левина.

– Я? – сказал Степан Аркадьич, – я ничего так не желал бы, как этого, ничего. Это лучшее, что могло бы быть.

– Но ты не ошибаешься? Ты знаешь, о чем мы говорим? – проговорил Левин, впиваясь глазами в своего собеседника. – Ты думаешь, что это возможно?

– Думаю, что возможно. Отчего же невозможно?

– Нет, ты точно думаешь, что это возможно? Нет, ты скажи все, что ты думаешь! Ну, а если, если меня ждет отказ?... И я даже уверен...

– Отчего же ты это думаешь? – улыбаясь на его волнение, сказал Степан Аркадьич.

– Так мне иногда кажется. Ведь это будет ужасно и для меня и для нее.

– Ну, во всяком случае, для девушки тут ничего ужасного нет. Всякая девушка гордится предложением.

– Да, всякая девушка, но не она.

Степан Аркадьич улыбнулся. Он так знал это чувство Левина, знал, что для него все девушки в мире разделяются на два сорта: один сорт – это все девушки в мире, кроме ее, и эти

⁵ Важной дамы (*франц.*).

имеют все человеческие слабости, и девушки очень обыкновенные; другой сорт – она одна, не имеющая никаких слабостей и превыше всего человеческого.

– Пстой, соуса возьми, – сказал он, удерживая руку Левина, который отталкивал от себя соус.

Левин покорно положил себе соус, но не дал есть Степану Аркадьичу.

– Нет, ты пстой, пстой, – сказал он. – Ты пойми, что это для меня вопрос жизни и смерти. Я никогда ни с кем не говорил об этом. И ни с кем я не могу говорить об этом, как с тобою. Ведь вот мы с тобой по всему чужие: другие вкусы, взгляды, все; но я знаю, что ты меня любишь и понимаешь, и от этого я тебя ужасно люблю. Но ради бога, будь вполне откровенен.

– Я тебе говорю, что я думаю, – сказал Степан Аркадьич, улыбаясь. – Но я тебе больше скажу; моя жена – удивительнейшая женщина... – Степан Аркадьич вздохнул, вспомнив о своих отношениях с женою, и, помолчав с минутку, продолжал: – У нее есть дар предвидения. Она насквозь видит людей; но этого мало, – она знает, что будет, особенно по части браков. Она, например, предсказала, что Шаховская выйдет за Брентельна. Никто этому верить не хотел, а так вышло. И она – на твоей стороне.

– То есть как?

– Так, что она мало того что любит тебя, – она говорит, что Кити будет твоею женою непременно.

При этих словах лицо Левина вдруг просияло улыбкой, тою, которая близка к слезам умиления.

– Она это говорит! – вскрикнул Левин. – Я всегда говорил, что она прелесть, твоя жена. Ну и довольно, довольно об этом говорить, – сказал он, вставая с места.

– Хорошо, но садись же, вот и суп.

Но Левин не мог сидеть. Он прошелся два раза своими твердыми шагами по клеточке-комнате, помигал глазами, чтобы не видно было слез, и тогда только сел опять за стол.

– Ты пойми, – сказал он, – что это не любовь. Я был влюблен, но это не то. Это не мое чувство, а какая-то сила внешняя завладела мной. Ведь я уехал, потому что решил, что этого не может быть, понимаешь, как счастья, которого не бывает на земле; но я бился с собой и вижу, что без этого нет жизни. И надо решить...

– Для чего же ты уезжал?

– Ах, пстой! Ах, сколько мыслей! Сколько надо спросить! Послушай. Ты ведь не можешь представить себе, что ты сделал для меня тем, что сказал. Я так счастлив, что даже гадок стал; я все забыл... Я нынче узнал, что брат Николай... знаешь, он тут... я и про него забыл. Мне кажется, что и он счастлив. Это вроде сумасшествия. Но одно ужасно... Вот ты женился, ты знаешь это чувство... Ужасно то, что мы – старые, уже с прошедшим... не любви, а грехов... вдруг сближаемся с существом чистым, невинным; это отвратительно, и поэтому нельзя не чувствовать себя недостойным.

– Ну, у тебя грехов немного.

– Ах, все-таки, – сказал Левин, – все-таки, «с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь...». Да.

– Что ж делать, так мир устроен, – сказал Степан Аркадьич.

– Одно утешение, как в этой молитве, которую я всегда любил, что не по заслугам прости меня, а по милосердию. Так и она только простить может.

XI

Левин выпил свой бокал, и они помолчали.

– Одно еще я тебе должен сказать. Ты знаешь Вронского? – спросил Степан Аркадьич Левина.

– Нет, не знаю. Зачем ты спрашиваешь?

– Подай другую, – обратился Степан Аркадьич к татарину, доливавшему бокалы и вертевшемуся около них, именно когда его не нужно было.

– Зачем мне знать Вронского?

– А затем тебе знать Вронского, что это один из твоих конкурентов.

– Что такое Вронский? – сказал Левин, и лицо его из того детски-восторженного выражения, которым только что любовался Облонский, вдруг перешло в злое и неприятное.

– Вронский – это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского и один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской. Я его узнал в Твери, когда я там служил, а он приезжал на рекрутский набор. Страшно богат, красив, большие связи, флигель-адъютант и вместе с тем – очень милый, добрый малый. Но более, чем просто добрый малый. Как я его узнал здесь, он и образован и очень умен; это человек, который далеко пойдет.

Левин хмурился и молчал.

– Ну-с, он появился здесь вскоре после тебя, и, как я понимаю, он по уши влюблен в Кити, и ты понимаешь, что мать...

– Извини меня, но я не понимаю ничего, – сказал Левин, мрачно насупливаясь. И тотчас же он вспомнил о брате Николае и о том, как он гадок, что мог забыть о нем.

– Ты постой, постой, – сказал Степан Аркадьич, улыбаясь и трогая его руку. – Я тебе сказал то, что я знаю, и повторяю, что в этом тонком, нежном деле, сколько можно догадываться, мне кажется, шансы на твоей стороне.

Левин откинулся назад на стул, лицо его было бледно.

– Но я бы советовал тебе решить дело как можно скорее, – продолжал Облонский, доливая ему бокал.

– Нет, благодарствуй, я больше не могу пить, – сказал Левин, отодвигая свой бокал. – Я буду пьян... Ну, ты как поживаешь? – продолжал он, видимо желая переменить разговор.

– Еще слово: во всяком случае, советую решить вопрос скорее. Нынче не советую говорить, – сказал Степан Аркадьич. – Поезжай завтра утром, классически, делать предложение, и да благословит тебя Бог...

– Что ж ты все хотел на охоту ко мне приехать? Вот приезжай весной на тягу, – сказал Левин.

Теперь он всею душой раскаивался, что начал этот разговор со Степаном Аркадьичем. Его особенное чувство было осквернено разговором о конкуренции какого-то петербургского офицера, предположениями и советами Степана Аркадьича.

Степан Аркадьич улыбнулся. Он понимал, что делалось в душе Левина.

– Приеду когда-нибудь, – сказал он. – Да, брат, женщины – это винт, на котором все вертится. Вот и мое дело плохо, очень плохо. И все от женщин. Ты мне скажи откровенно, – продолжал он, достав сигару и держась одною рукой за бокал, – ты мне дай совет.

– Но в чем же?

– Вот в чем. Положим, ты женат, ты любишь жену, но ты увлекся другою женщиной...

– Извини, но я решительно не понимаю этого, как бы... все равно как не понимаю, как бы я теперь, наевшись, тут же пошел мимо калачной и украл бы калач.

Глаза Степана Аркадьича блестели больше обыкновенного.

– Отчего же? Калач иногда так пахнет, что не удержишься.

Himmlisch ist's, wenn ich bezwungen
Meine irdische Begier;
Aber doch wenn's nicht gelungen,
Hatt'ich auch recht hübsch Plaisir!⁶

Говоря это, Степан Аркадьич тонко улыбался. Левин тоже не мог не улыбнуться.

– Да, но без шуток, – продолжал Облонский. – Ты пойми, что женщина, милое, кроткое, любящее существо, бедная, одинокая и всем пожертвовала. Теперь, когда уже дело сделано, – ты пойми, – неужели бросить ее? Положим: расстаться, чтобы не разрушить семейную жизнь: но неужели не пожалеть ее, не устроить, не смягчить?

– Ну, уж извини меня. Ты знаешь, для меня все женщины делятся на два сорта... то есть нет... вернее: есть женщины, и есть... Я прелестных падших созданий не видал и не увижу, а такие, как та крашенная француженка у конторки, с завитками, – это для меня гадины, и все падшие – такие же.

– А евангельская?

– Ах, перестань! Христос никогда бы не сказал этих слов, если бы знал, как будут злоупотреблять ими. Изю всего Евангелия только и помнят эти слова. Впрочем, я говорю не то, что думаю, а то, что чувствую. Я имею отвращение к падшим женщинам. Ты пауков боишься, а я этих гадин. Ты ведь, наверно, не изучал пауков и не знаешь их нравов: так и я.

– Хорошо тебе так говорить; это все равно, как этот диккенсовский господин, который перебрасывает левою рукой через правое плечо все затруднительные вопросы. Но отрицание факта – не ответ. Что же делать, ты мне скажи, что делать? Жена стареется, а ты полон жизни. Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь любить любовью жену, как бы ты ни уважал ее. А тут вдруг подвернется любовь, и ты пропал, пропал! – с унылым отчаянием проговорил Степан Аркадьич.

Левин усмехнулся.

– Да, и пропал, – продолжал Облонский. – Но что же делать?

– Не красть калачей.

Степан Аркадьич рассмеялся.

– О моралист! Но ты пойми, есть две женщины: на своих правах, и права эти твоя любовь, которой ты не можешь ей дать; а другая жертвует тебе всем и ничего не требует. Что тебе делать? Как поступить? Тут страшная драма.

Если ты не хочешь мою исповедь относительно этого, то я скажу тебе, что не верю, чтобы тут была драма. И вот почему. По-моему, любовь... обе любви, которые, помнишь, Платон определяет в своем «Пире», обе любви служат пробным камнем для людей. Одни люди понимают только одну, другие другую. И те, что понимают только неплатоническую любовь, напрасно говорят о драме. При такой любви не может быть никакой драмы. «Покорно вас благодарю за удовольствие, мое почтение», вот и вся драма. А для платонической любви не может быть драмы, потому что в такой любви все ясно и чисто, потому что...

В эту минуту Левин вспомнил о своих грехах и о внутренней борьбе, которую он пережил. И он неожиданно прибавил:

– А впрочем, может быть, ты и прав. Очень может быть... Но я не знаю, решительно не знаю.

– Вот видишь ли, – сказал Степан Аркадьич, – ты очень цельный человек. Это твое качество и твой недостаток. Ты сам цельный характер и хочешь, чтобы вся жизнь слагалась из цельных явлений, а этого не бывает. Ты вот презираешь общественную служебную деятельность,

⁶ Великолепно, если я поборол\\Свою земную страсть;\\Но если это и не удалось,\\Я все же испытал блаженство! (нем.)

потому что тебе хочется, чтобы дело постоянно соответствовало цели, а этого не бывает. Ты хочешь тоже, чтобы деятельность одного человека всегда имела цель, чтобы любовь и семейная жизнь всегда были одно. А этого не бывает. Все разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни складывается из тени и света.

Левин вздохнул и ничего не ответил. Он думал о своем и не слушал Облонского.

И вдруг они оба почувствовали, что хотя они и друзья, хотя они обедали вместе и пили вино, которое должно было бы еще более сблизить их, но что каждый думает только о своем и одному до другого нет дела. Облонский уже не раз испытывал это случающееся после обеда крайнее раздвоение вместо сближения и знал, что надо делать в этих случаях.

– Счет! – крикнул он и вышел в соседнюю залу, где тотчас же встретил знакомого адъютанта и вступил с ним в разговор об актрисе и ее содержателе. И тотчас же в разговоре с адъютантом Облонский почувствовал облегчение и отдохновение от разговора с Левиным, который вызывал его всегда на слишком большое умственное и душевное напряжение.

Когда татарин явился со счетом в двадцать шесть рублей с копейками и с дополнением на водку, Левин, которого в другое время, как деревенского жителя, привел бы в ужас счет на его долю в четырнадцать рублей, теперь не обратил внимания на это, расплатился и отправился домой, чтобы переодеться и ехать к Щербацким, где решится его судьба.

XII

Княжне Кити Щербацкой было восемнадцать лет. Она выезжала первую зиму. Успехи ее в свете были больше, чем обеих ее старших сестер, и больше, чем даже ожидала княгиня. Мало того, что юноши, танцующие на московских балах, почти все были влюблены в Кити, уже в первую зиму представились две серьезные партии: Левин и, тотчас же после его отъезда, граф Вронский.

Появление Левина в начале зимы, его частые посещения и явная любовь к Кити были поводом к первым серьезным разговорам между родителями Кити о ее будущем и к спорам между князем и княгиней. Князь был на стороне Левина, говорил, что он ничего не желает лучшего для Кити. Княгиня же, со свойственною женщинам привычкой обходить вопрос, говорила, что Кити слишком молода, что Левин ничем не показывает, что имеет серьезные намерения, что Кити не имеет к нему привязанности, и другие доводы; но не говорила главного, того, что она ждет лучшей партии для дочери, и что Левин несимпатичен ей, и что она не понимает его. Когда же Левин внезапно уехал, княгиня была рада и с торжеством говорила мужу: «Видишь, я была права». Когда же появился Вронский, она еще более была рада, утвердившись в своем мнении, что Кити должна сделать не просто хорошую, но блестящую партию.

Для матери не могло быть никакого сравнения между Вронским и Левиным. Матери не нравились в Левине и его странные и резкие суждения, и его неловкость в свете, основанная, как она полагала, на гордости, и его, по ее понятиям, дикая какая-то жизнь в деревне, с занятиями скотиной и мужиками; не нравилось очень и то, что он, влюбленный в ее дочь, ездил в дом полтора месяца, чего-то как будто ждал, высматривал, как будто боялся, не велика ли будет честь, если он сделает предложение, и не понимал, что, ездя в дом, где девушка невеста, надо было объясниться. И вдруг, не объяснившись, уехал. «Хорошо, что он так непривлекателен, что Кити не влюбилась в него», — думала мать.

Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умен, знатен, на пути блестящей военнопридворной карьеры и обворожительный человек. Нельзя было ничего лучшего желать.

Вронский на балах явно ухаживал за Кити, танцевал с нею и ездил в дом, стало быть, нельзя было сомневаться в серьезности его намерений. Но, несмотря на то, мать всю эту зиму находилась в страшном беспокойстве и волнении.

Сама княгиня вышла замуж тридцать лет тому назад, по сватовству тетки. Жених, о котором было все уже вперед известно, приехал, увидел невесту, и его увидели; сваха тетка узнала и передала взаимно произведенное впечатление; впечатление было хорошее; потом в назначенный день было сделано родителям и принято ожидаемое предложение. Все произошло очень легко и просто. По крайней мере так казалось княгине. Но на своих дочерях она испытала, как не легко и не просто это, кажущееся обыкновенным, дело — выдавать дочерей замуж. Сколько страхов было пережито, сколько мыслей передумано, сколько денег потрачено, сколько столкновений с мужем при выдаче замуж старших двух, Дарьи и Натальи! Теперь, при вывозе меньшей, переживались те же страхи, те же сомнения и еще большие, чем из-за старших, ссоры с мужем. Старый князь, как и все отцы, был особенно щепетилен насчет чести и чистоты своих дочерей; он был неблагоприятно ревнив к дочерям, и особенно к Кити, которая была его любимица, и на каждом шагу делал сцены княгине за то, что она компрометирует дочь. Княгиня привыкла к этому еще с первыми дочерьми, но теперь она чувствовала, что щепетильность князя имеет больше оснований. Она видела, что в последнее время многое изменилось в приемах общества, что обязанности матери стали еще труднее. Она видела, что сверстницы Кити составляли какие-то общества, отправлялись на какие-то курсы, свободно обращались с мужчинами, ездили одни по улицам, многие не приседали и, главное, были все твердо уверены,

что выбрать себе мужа есть их дело, а не родителей. «Нынче уж так не выдают замуж, как прежде», – думали и говорили все эти молодые девушки и все даже старые люди. Но как же нынче выдают замуж, княгиня ни от кого не могла узнать. Французский обычай – родителям решать судьбу дегей – был не принят, осуждался. Английский обычай – совершенной свободы девушки – был тоже не принят и невозможен в русском обществе. Русский обычай сватовства считался чем-то безобразным, над ним смеялись все и сама княгиня. Но как надо выходить и выдавать замуж, никто не знал. Все, с кем княгине случалось толковать об этом, говорили ей одно: «Помилуйте, в наше время уж пора оставить эту старину. Ведь молодым людям в брак вступать, а не родителям; стало быть, и надо оставить молодых людей устраиваться, как они знают». Но хорошо было говорить так тем, у кого не было дочерей; а княгиня понимала, что при сближении дочь могла влюбиться, и влюбиться в того, кто не захочет жениться, или в того, кто не годится в мужья. И сколько бы ни внушали княгине, что в наше время молодые люди сами должны устраивать свою судьбу, она не могла верить этому, как не могла бы верить тому, что в какое бы то ни было время для пятилетних детей самыми лучшими игрушками должны быть заряженные пистолеты. И потому княгиня беспокоилась с Кити больше, чем со старшими дочерьми.

Теперь она боялась, чтобы Вронский не ограничился одним ухаживанием за ее дочерью. Она видела, что дочь уже влюблена в него, но утешала себя тем, что он честный человек и потому не сделает этого. Но вместе с тем она знала, как с нынешнею свободой обращения легко вскружить голову девушки и как вообще мужчины легко смотрят на эту вину. На прошлой неделе Кити рассказала матери свой разговор во время мазурки с Вронским. Разговор этот отчасти успокоил княгиню, но совершенно спокойною она не могла быть. Вронский сказал Кити, что они, оба брата, так привыкли во всем подчиняться своей матери, что никогда не решатся предпринять что-нибудь важное, не посоветовавшись с нею. «И теперь я жду, как особенного счастья, приезда матушки из Петербурга», – сказал он.

Кити рассказала это, не придавая никакого значения этим словам. Но мать поняла это иначе. Она знала, что старуху ждут со дня на день, знала, что старуха будет рада выбору сына, и ей странно было, что он, боясь оскорбить мать, не делает предложения; однако ей так хотелось и самого брака и, более всего, успокоения от своих тревог, что она верила этому. Как ни горько было теперь княгине видеть несчастье старшей дочери Долли, сбиравшейся оставить мужа, волнение о решавшейся судьбе меньшей дочери поглощало все ее чувства. Нынешний день, с появлением Левина, ей прибавилось еще новое беспокойство. Она боялась, чтобы дочь, имевшая, как ей казалось, одно время чувство к Левину, из излишней честности не отказала бы Вронскому и вообще чтобы приезд Левина не запутал, не задержал дела, столь близкого к окончанию.

– Что он, давно ли приехал? – сказала княгиня про Левина, когда они вернулись домой.

– Нынче, маман.

– Я одно хочу сказать... – начала княгиня, и по серьезно-оживленному лицу ее Кити угадала, о чем будет речь.

– Мама, – сказала она, вспыхнув и быстро поворачиваясь к ней, – пожалуйста, пожалуйста, не говорите ничего про это. Я знаю, я все знаю.

Она желала того же, чего желала и мать, но мотивы желания матери оскорбляли ее.

– Я только хочу сказать, что, подав надежду одному...

– Мама, голубчик, ради бога, не говорите. Так страшно говорить про это.

– Не буду, не буду, – сказала мать, увидав слезы на глазах дочери, – но одно, моя душа: ты мне обещала, что у тебя не будет от меня тайны. Не будет?

– Никогда, мама, никакой, – отвечала Кити, покраснев и взглянув прямо в лицо матери. – Но мне нечего говорить теперь. Я... я... если бы хотела, я не знаю, что сказать и как... я не знаю...

«Нет, неправду не может она сказать с этими глазами», — подумала мать, улыбаясь на ее волнение и счастье. Княгиня улыбалась тому, как огромно и значительно кажется ей, бедняжке, то, что происходит теперь в ее душе.

ХІІІ

Кити испытывала после обеда до начала вечера чувство, подобное тому, какое испытывает юноша пред битвою. Сердце ее билось сильно, и мысли не могли ни на чем остановиться.

Она чувствовала, что нынешний вечер, когда они оба в первый раз встречаются, должен быть решительный в ее судьбе. И она беспрестанно представляла себе их, то каждого порознь, то вместе обоих. Когда она думала о прошедшем, она с удовольствием, с нежностью останавливалась на воспоминаниях своих отношений к Левину. Воспоминания детства «воспоминания о дружбе Левина с ее умершим братом» придавали особенную поэтическую прелесть ее отношения с ним. Его любовь к ней, в которой она была уверена, была лестна и радостна ей. И ей легко было вспоминать о Левине. К воспоминаниям о Вронском, напротив, примешивалось что-то неловкое, хотя он был в высшей степени светский и спокойный человек; как будто фальшь какая-то была, – не в нем, он был очень прост и мил, – но в ней самой, тогда как с Левиным она чувствовала себя совершенно простою и ясною. Но зато, как только она думала о будущем с Вронским, пред ней вставала перспектива блестяще-счастливая; с Левиным же будущность представлялась туманною.

Взойдя наверх одеться для вечера и взглянув в зеркало, она с радостью заметила, что она в одном из своих хороших дней и в полном обладании всеми своими силами, а это ей так нужно было для предстоящего: она чувствовала в себе внешнюю тишину и свободную грацию движений.

В половине восьмого, только что она сошла в гостиную, лакей доложил: «Константин Дмитрич Левин». Княгиня была еще в своей комнате, и князь не выходил. «Так и есть», – подумала Кити, и вся кровь прилила ей к сердцу. Она ужаснулась своей бледности, взглянув в зеркало.

Теперь она верно знала, что он затем и приехал раньше, чтобы застать ее одну и сделать предложение. И тут только в первый раз все дело представилось ей совсем с другой, новой стороны. Тут только она поняла, что вопрос касается не ее одной, – с кем она будет счастлива и кого она любит, – но что сию минуту она должна оскорбить человека, которого она любит. И оскорбить жестоко... За что? За то, что он, милый, любит ее, влюблен в нее. Но, делать нечего, так нужно, так должно.

«Боже мой, неужели это я должна сама сказать ему? – подумала она. – Ну что я скажу ему? Неужели я скажу ему, что я его не люблю? Это будет неправда. Что ж я скажу ему? Скажу, что люблю другого? Нет, это невозможно. Я уйду, уйду».

Она уже подходила к дверям, когда услышала его шаги. «Нет! нечестно. Чего мне бояться? Я ничего дурного не сделала. Что будет, то будет! Скажу правду. Да с ним не может быть неловко. Вот он», – сказала она себе, увидав всю его сильную и робкую фигуру с блестящими, устремленными на себя глазами. Она прямо взглянула ему в лицо, как бы умоляя его о пощаде, и подала руку.

– Я не вовремя, кажется, слишком рано, – сказал он, оглянув пустую гостиную. Когда он увидал, что его ожидания сбылись, что ничто не мешает ему высказаться, лицо его сделалось мрачно.

– О, нет, – сказала Кити и села к столу.

– Но я только того и хотел, чтобы застать вас одну, – начал он, не садясь и не глядя на нее, чтобы не потерять смелости.

– Мама сейчас выйдет. Она вчера очень устала. Вчера...

Она говорила, сама не зная, что говорят ее губы, и не спуская с него умоляющего и ласкающего взгляда.

Он взглянул на нее; она покраснела и замолчала.

– Я сказал вам, что не знаю, надолго ли я приехал... что это от вас зависит...

Она все ниже и ниже склоняла голову, не зная сама, что будет отвечать на приближавшееся.

– Что это от вас зависит, – повторил он. – Я хотел сказать... я хотел сказать... Я за этим приехал... что... быть моею женой! – проговорил он, не зная сам, что говорил; но, почувствовав, что самое страшное сказано, остановился и посмотрел на нее.

Она тяжело дышала, не глядя на него. Она испытывала восторг. Душа ее была переполнена счастьем. Она никак не ожидала, что высказанная любовь его произведет на нее такое сильное впечатление. Но это продолжалось только одно мгновение. Она вспомнила Вронского. Она подняла на Левина свои светлые правдивые глаза и, увидав его отчаянное лицо, поспешно ответила:

– Этого не может быть... простите меня...

Как за минуту тому назад она была близка ему, как важна для его жизни! И как теперь она стала чужда и далека ему!

– Это не могло быть иначе, – сказал он, не глядя на нее.

Он поклонился и хотел уйти.

XIV

Но в это самое время вышла княгиня. На лице ее изобразился ужас, когда она увидела их одних и их расстроенные лица. Левин поклонился ей и ничего не сказал. Кити молчала, не поднимая глаз. «Слава богу, отказала», – подумала мать, и лицо ее просияло обычной улыбкой, с которой она встречала по четвергам гостей. Она села и начала расспрашивать Левина о его жизни в деревне. Он сел опять, ожидая приезда гостей, чтоб уехать незаметно.

Через пять минут вошла подруга Кити, прошлую зиму вышедшая замуж, графиня Нордстон.

Это была сухая, желтая, с черными блестящими глазами, болезненная, нервная женщина. Она любила Кити, и любовь ее к ней, как и всегда любовь замужних к девушкам, выражалась в желании выдать Кити по своему идеалу счастья замуж, и потому желала выдать ее за Вронского. Левин, которого она в начале зимы часто у них встречала, был всегда неприятен ей. Ее постоянное и любимое занятие при встрече с ним состояло в том, чтобы шутить над ним.

– Я люблю, когда он с высоты своего величия смотрит на меня: или прекращает свой умный разговор со мной, потому что я глупа, или снисходит. Я это очень люблю: *снисходит* до меня! Я очень рада, что он меня терпеть не может, – говорила она о нем.

Она была права, потому что действительно Левин терпеть ее не мог и презирал за то, чем она гордилась и что ставила себе в достоинство, – за ее нервность, за ее утонченное презрение и равнодушие ко всему грубому и житейскому.

Между Нордстон и Левиным установилось то нередко встречающееся в свете отношение, что два человека, оставаясь по внешности в дружелюбных отношениях, презирают друг друга до такой степени, что не могут даже серьезно обращаться друг с другом и не могут даже быть оскорблены один другим.

Графиня Нордстон тотчас же накинулась на Левина.

– А! Константин Дмитрич! Опять приехали в наш развратный Вавилон, – сказала она, подавая ему крошечную желтую руку и вспоминая его слова, сказанные как-то в начале зимы, что Москва есть Вавилон. – Что, Вавилон исправился или вы испортились? – прибавила она, с усмешкой оглядываясь на Кити.

– Мне очень лестно, графиня, что вы так помните мои слова, – отвечал Левин, успевший оправиться и сейчас же по привычке входя в свое шуточно-враждебное отношение к графине Нордстон. – Верно, они на вас очень сильно действуют.

– Ах, как же! Я все записываю. Ну что, Кити, ты опять каталась на коньках?...

И она стала говорить с Кити. Как ни неловко было Левину уйти теперь, ему все-таки легче было сделать эту неловкость, чем остаться весь вечер и видеть Кити, которая изредка взглядывала на него и избегала его взгляда. Он хотел встать, но княгиня, заметив, что он молчит, обратилась к нему:

– Вы надолго приехали в Москву? Ведь вы, кажется, мировым земством занимаетесь, и вам нельзя надолго.

– Нет, княгиня, я не занимаюсь более земством, – сказал он. – Я приехал на несколько дней.

«Что-то с ним нынче особенное, – подумала графиня Нордстон, взглядывая в его строгое, серьезное лицо, – что-то он не втягивается в свои рассуждения. Но я уж выведу его. Ужасно люблю сделать его дураком пред Кити, и сделаю».

– Константин Дмитрич, – сказала она ему, – растолкуйте мне, пожалуйста, что такое значит, – вы всё это знаете, – у нас в калужской деревне все мужики и все бабы все пропили, что у них было, и теперь ничего нам не платят. Что это значит? Вы так хвалите всегда мужиков.

В это время еще дама вошла в комнату, и Левин встал.

– Извините меня, графиня, но я, право, ничего этого не знаю и ничего не могу вам сказать, – сказал он и оглянулся на входившего вслед за дамой военного.

«Это должен быть Вронский», – подумал Левин и, чтоб убедиться в этом, взглянул на Кити. Она уже успела взглянуть на Вронского и оглянулась на Левина. И по одному этому взгляду невольно просиявших глаз ее Левин понял, что она любила этого человека, понял так же верно, как если б она сказала ему это словами. Но что же это за человек?

Теперь, – хорошо ли это, дурно ли, – Левин не мог не остаться; ему нужно было узнать, что за человек был тот, кого она любила.

Есть люди, которые, встречая своего счастливого в чем бы то ни было соперника, готовы сейчас же отвернуться от всего хорошего, что есть в нем, и видеть в нем одно дурное; есть люди, которые, напротив, более всего желают найти в этом счастливом сопернике те качества, которыми он победил их, и ищут в нем со щемящею болью в сердце одного хорошего. Левин принадлежал к таким людям. Но ему нетрудно было отыскать хорошее и привлекательное во Вронском. Оно сразу бросилось ему в глаза. Вронский был невысокий, плотно сложенный брюнет, с добродушно-красивым, чрезвычайно спокойным и твердым лицом. В его лице и фигуре, от коротко обстриженных черных волос и свежевыбритого подбородка до широкого с иголочки нового мундира, все было просто и вместе изящно. Дав дорогу входившей даме, Вронский подошел к княгине и потом к Кити.

В то время как он подходил к ней, красивые глаза его особенно нежно заблестели, и с чуть заметною счастливою и скромно-торжествующею улыбкой (так показалось Левину), почти-тельно и осторожно наклонясь над нею, он протянул ей свою небольшую, но широкую руку.

Со всеми поздоровавшись и сказав несколько слов, он сел, ни разу не взглянув на не спускавшего с него глаз Левина.

– Позвольте вас познакомить, – сказала княгиня, указывая на Левина. – Константин Дмитрич Левин. Граф Алексей Кириллович Вронский.

Вронский встал и, дружелюбно глядя в глаза Левину, пожал ему руку.

– Я нынче зимой должен был, кажется, обедать с вами, – сказал он, улыбаясь своею простою и открытою улыбкой, – но вы неожиданно уехали в деревню.

– Константин Дмитрич презирает и ненавидит город и нас, горожан, – сказала графиня Нордстон.

– Должно быть, мои слова на вас сильно действуют, что вы их так помните, – сказал Левин и, вспомнив, что он уже сказал это прежде, покраснел.

Вронский взглянул на Левина и графиню Нордстон и улыбнулся.

– А вы всегда в деревне? – спросил он. – Я думаю, зимой скучно?

– Не скучно, если есть занятия, да и с самим собой не скучно, – резко отвечал Левин.

– Я люблю деревню, – сказал Вронский, замечая и делая вид, что не замечает тона Левина.

– Но надеюсь, граф, что вы бы не согласились жить всегда в деревне, – сказала графиня Нордстон.

– Не знаю, я не пробовал подолгу. Я испытал странное чувство, – продолжал он. – Я нигде так не скучал по деревне, русской деревне, с лаптями и мужиками, как прожив с матушкой зиму в Ницце. Ницца сама по себе скучна, вы знаете. Да и Неаполь, Сорренто хороши только на короткое время. И именно там особенно живо вспоминается Россия, и именно деревня. Они точно как...

Он говорил, обращаясь и к Кити и к Левину и переводя с одного на другого свой спокойный и дружелюбный взгляд, – говорил, очевидно, что приходило в голову.

Заметив, что графиня Нордстон хотела что-то сказать, он остановился, не досказав начатого, и стал внимательно слушать ее.

Разговор не умолкал ни на минуту, так что старой княгине, всегда имевшей про запас, на случай неимения темы, два тяжелых орудия: классическое и реальное образование и общую

воинскую повинность, не пришлось выдвигать их, а графине Нордстон не пришлось подразнить Левина.

Левин хотел и не мог вступить в общий разговор; ежеминутно говоря себе: «теперь уйти», он не уходил, чего-то дожидаясь.

Разговор зашел о вертящихся столах и духах, и графиня Нордстон, верившая в спиритизм, стала рассказывать чудеса, которые она видела.

– Ах, графиня, непременно свезите, ради бога, свезите меня к ним! Я никогда ничего не видал необыкновенного, хотя везде отыскиваю, – улыбаясь, сказал Вронский.

– Хорошо, в будущую субботу, – отвечала графиня Нордстон. – Но вы, Константин Дмитрич, верите? – спросила она Левина.

– Зачем вы меня спрашиваете? Ведь вы знаете, что я скажу.

– Но я хочу слышать ваше мнение.

– Мое мнение только то, – отвечал Левин, – что эти вертящиеся столы доказывают, что так называемое образованное общество не выше мужиков. Они верят в глаз, и в порчу, и в привороты, а мы...

– Что ж, вы не верите?

– Не могу верить, графиня.

– Но если я сама видела?

– И бабы рассказывают, как они сами видели домовых.

– Так вы думаете, что я говорю неправду?

И она невесело засмеялась.

– Да нет, Маша, Константин Дмитрич говорит, что он не может верить, – сказала Кити, краснея за Левина, и Левин понял это и, еще более раздражившись, хотел отвечать, но Вронский со своею открытою веселою улыбкой тотчас же пришел на помощь разговору угрожавшему сделаться неприятным.

– Вы совсем не допускаете возможности? – спросил он. – Почему же мы допускаем существование электричества, которого мы не знаем; почему не может быть новая сила, еще нам неизвестная, которая...

– Когда найдено было электричество, – быстро перебил Левин, – то было только открыто явление, и неизвестно было, откуда оно происходит и что оно производит, и века прошли прежде, чем подумали о приложении его. Спириты же, напротив, начали с того, что столики им пишут и духи к ним приходят, а потом уже стали говорить, что это есть сила неизвестная.

Вронский внимательно слушал Левина, как он всегда слушал, очевидно, интересуясь его словами.

– Да, но спириты говорят: теперь мы не знаем, что это за сила, но сила есть, и вот при каких условиях она действует. А ученые пускай разбирают, в чем состоит эта сила. Нет, я не вижу, почему это не может быть новая сила, если она...

– А потому, – опять перебил Левин, – что при электричестве каждый раз, как вы потрете смолу о шерсть, обнаруживается известное явление, а здесь не каждый раз, стало быть, это не природное явление.

Вероятно, чувствуя, что разговор принимает слишком серьезный для гостиной характер, Вронский не возражал, а, стараясь переменить предмет разговора, весело улыбнулся и повернулся к дамам.

– Давайте сейчас попробуем, графиня, – начал он; но Левин хотел досказать то, что он думал.

– Я думаю, – продолжал он, – что эта попытка спиритов объяснять свои чудеса какою-то новою силой – самая неудачная. Они прямо говорят о силе духовной и хотят ее подвергать материальному опыту.

Все ждали, когда он кончит, и он чувствовал это.

– А я думаю, что вы будете отличный медиум, – сказала графиня Нордстон, – в вас есть что-то восторженное.

Левин открыл рот, хотел сказать что-то, покраснел и ничего не сказал.

– Давайте сейчас, княжна, испытаем столы, пожалуйста, – сказал Вронский. – Княгиня, вы позволите?

И Вронский встал, отыскивая глазами столик.

Кити встала за столиком и, проходя мимо, встретила глазами с Левиным. Ей всею душой было жалко его, тем более что она жалела его в несчастии, которого сама была причиною. «Если можно меня простить, то простите, – сказал ее взгляд, – я так счастлива».

«Всех ненавижу, и вас, и себя», – отвечал его взгляд, и он взялся за шляпу. Но ему не судьба была уйти. Только что хотели устраиваться около столика, а Левин уйти, как вошел старый князь и, поздоровавшись с дамами, обратился к Левину.

– А! – начал он радостно. – Давно ли? Я и не знал, что ты тут. Очень рад вас видеть.

Старый князь иногда «ты», иногда «вы» говорил Левину. Он обнял Левина и, говоря с ним, не замечал Вронского, который встал и спокойно дожидался, когда князь обратится к нему.

Кити чувствовала, как после того, что произошло, любезность отца была тяжела Левину. Она видела также, как холодно отец ее, наконец, ответил на поклон Вронского и как Вронский с дружелюбным недоумением посмотрел на ее отца, стараясь понять и не понимая, как и за что можно было быть к нему недружелюбно расположенным, и она покраснела.

– Князь, отпустите нам Константина Дмитрича, – сказала графиня Нордстон. – Мы хотим опыт делать.

– Какой опыт? столы вертеть? Ну, извините меня, дамы и господа, но, по-моему, в колечко веселее играть, – сказал старый князь, глядя на Вронского и догадываясь, что он затеял это. – В колечке еще есть смысл.

Вронский посмотрел с удивлением на князя своими твердыми глазами и, чуть улыбнувшись, тотчас же заговорил с графиней Нордстон о предстоящем на будущей неделе большом бале.

– Я надеюсь, что вы будете? – обратился он к Кити.

Как только старый князь отвернулся от него, Левин незаметно вышел, и последнее впечатление, вынесенное им с этого вечера, было улыбающееся, счастливое лицо Кити, отвечавшей Вронскому на его вопрос о бале.

XV

Когда вечер кончился, Кити рассказала матери о разговоре ее с Левиным, и, несмотря на всю жалость, которую она испытывала к Левину, ее радовала мысль, что ей было сделано *предложение*. У нее не было сомнения, что она поступила как следовало. Но в постели она долго не могла заснуть. Одно впечатление неотступно преследовало ее. Это было лицо Левина с насупленными бровями и мрачно-уныло смотрящими из-под них добрыми глазами, как он стоял, слушая отца и взглядывая на нее и на Вронского. И ей так жалко стало его, что слезы навернулись на глаза. Но тотчас же она подумала о том, на кого она променяла его. Она живо вспомнила это мужественное, твердое лицо, это благородное спокойствие и светящуюся во всем доброту ко всем; вспомнила любовь к себе того, кого она любила, и ей опять стало радостно на душе, и она с улыбкой счастья легла на подушку. «Жалко, жалко, но что же делать? Я не виновата», – говорила она себе; но внутренний голос говорил ей другое. В том ли она раскаивалась, что завлекла Левина, или в том, что отказала, – она не знала. Но счастье ее было отравлено сомнениями. «Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!» – говорила она про себя, пока заснула.

В это время внизу, в маленьком кабинете князя, происходила одна из тех, часто повторяющихся между родителями сцен за любимую дочь.

– Что? Вот что! – кричал князь, размахивая руками и тотчас же запахивая свой беличий халат. – То, что в вас нет гордости, достоинства, что вы срамите, губите дочь этим сватовством, подлым, дурацким!

– Да помилуй, ради самого Бога, князь, что я сделала? – говорила княгиня, чуть не плача.

Она, счастливая, довольная после разговора с дочерью, пришла к князю проститься по обыкновению, и хотя она не намерена была говорить ему о предложении Левина и отказе Кити, но намекнула мужу на то, что ей кажется дело с Вронским совсем конченным, что оно решится, как только приедет его мать. И тут-то, на эти слова, князь вдруг вспылил и начал выкрикивать неприличные слова.

– Что вы сделали? А вот что: во-первых, вы заманиваете жениха, и вся Москва будет говорить, и резонно. Если вы делаете вечера, так зовите всех, а не избранных женишков. Позовите всех этих *тютюков* (так князь называл московских молодых людей), позовите тапера, и пускай пляшут, а не так, как нынче, – женишков, и сводить. Мне видеть мерзко, мерзко, и вы добились, вскружили голову девчонке. Левин в тысячу раз лучше человек. А это франтик петербургский, их на машине делают, они все на одну статью, и все дрянь. Да хоть бы он принц крови был, моя дочь ни в ком не нуждается!

– Да что же я сделала?

– А то... – с гневом вскрикнул князь.

– Знаю я, что если тебя слушать, – перебила княгиня, – то мы никогда не отдадим дочь замуж. Если так, то надо в деревню уехать.

– И лучше уехать.

– Да постой. Разве я заискиваю? Я нисколько не заискиваю. А молодой человек, и очень хороший, влюбился, и она, кажется...

– Да, вот вам кажется! А как она в самом деле влюбится, а он столько же думает жениться, как я?... Ох! не смотрели бы мои глаза!.. «Ах, спиритизм, ах, Ницца, ах, на бале...» – И князь, воображая, что он представляет жену, приседал на каждом слове. – А вот, как сделаем несчастье Катеньки, как она в самом деле заберет в голову...

– Да почему же ты думаешь?

– Я не думаю, а знаю; на это глаза есть у нас, а не у баб. Я вижу человека, который имеет намерения серьезные, это Левин; и вижу перепела, как этот щелкопер, которому только повеселиться.

– Ну, уж ты заберешь в голову...

– А вот вспомнишь, да поздно, как с Дашенькой.

– Ну, хорошо, хорошо, не будем говорить, – остановила его княгиня, вспомнив про несчастную Долли.

– И прекрасно, и прощай!

И, перекрестив друг друга и поцеловавшись, но чувствуя, что каждый остался при своем мнении, супруги разошлись.

Княгиня была сперва твердо уверена, что нынешний вечер решил судьбу Кити и что не может быть сомнения в намерениях Вронского, но слова мужа смутили ее. И, вернувшись к себе, она, точно так же как и Кити, с ужасом пред неизвестностью будущего, несколько раз повторила в душе: «Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!»

XVI

Вронский никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества, и в особенности после, много романов, известных всему свету. Отца своего он почти не помнил и был воспитан в Пажеском корпусе.

Выйдя очень молодым блестящим офицером из школы, он сразу попал в колею богатых петербургских военных. Хотя он и ездил изредка в петербургский свет, все любовные интересы его были вне света.

В Москве в первый раз он испытал, после роскошной и грубой петербургской жизни, прелесть сближения со светскою, милою и невинною девушкой, которая полюбила его. Ему и в голову не приходило, чтобы могло быть что-нибудь дурное в его отношениях к Кити. На балах он танцевал преимущественно с нею; он ездил к ним в дом. Он говорил с нею то, что обыкновенно говорят в свете, всякий вздор, но вздор, которому он невольно придавал особенный для нее смысл. Несмотря на то, что он ничего не сказал ей такого, чего не мог бы сказать при всех, он чувствовал, что она все более и более становилась в зависимость от него, и чем больше он это чувствовал, тем ему было приятнее и его чувство к ней становилось нежнее. Он не знал, что его образ действий относительно Кити имеет определенное название, что это есть заманивание барышень без намерения жениться и что это заманивание есть один из дурных поступков, обыкновенных между блестящими молодыми людьми, как он. Ему казалось, что он первый открыл это удовольствие, и наслаждался своим открытием.

Если б он мог слышать, что говорили ее родители в этот вечер, если б он мог перенестись на точку зрения семьи и узнать, что Кити будет несчастна, если он не женится на ней, он бы очень удивился и не поверил бы этому. Он не мог поверить тому, что то, что доставляло такое большое и хорошее удовольствие ему, а главное, ей, могло быть дурно. Еще меньше он мог бы поверить тому, что он должен жениться.

Женитьба для него никогда не представлялась возможностью. Он не только не любил семейной жизни, но в семье, и в особенности в муже, по тому общему взгляду холостого мира, в котором он жил, он представлял себе нечто чуждое, враждебное, а всего более – смешное. Но хотя Вронский и не подозревал того, что говорили родители, он, выйдя в этот вечер от Щербацких, почувствовал, что та духовная тайная связь, которая существовала между ним и Кити, утвердилась нынешний вечер так сильно, что надо предпринять что-то. Но что можно и что должно было предпринять, он не мог придумать.

«То и прелестно, – думал он, возвращаясь от Щербацких и вынося от них, как и всегда, приятное чувство чистоты и свежести, происходившее отчасти и оттого, что он не курил целый вечер, и вместе новое чувство умиления пред ее к себе любовью, – то и прелестно, что ничего не сказано ни мной, ни ею, но мы так понимали друг друга в этом невидимом разговоре взглядов и интонаций, что нынче яснее, чем когда-нибудь, она сказала мне, что любит. И как мило, просто и главное, доверчиво! Я сам себя чувствую лучше, чище. Я чувствую, что у меня есть сердце и что есть во мне много хорошего. Эти милые влюбленные глаза! Когда она сказала: *и очень...*»

«Ну так что ж? Ну и ничего. Мне хорошо, и ей хорошо». И он задумался о том, где ему окончить нынешний вечер.

Он прикинул воображением места, куда он мог бы ехать. «Клуб? партия безика, шампанское с Игнатовым? Нет, не поеду. *Château des fleurs*, там найду Облонского, куплеты, сапан? Нет, надоело. Вот именно за то я люблю Щербацких, что сам лучше делаюсь. Поеду домой». Он прошел прямо в свой номер у Дюссо, велел подать себе ужинать и потом, раздевшись, только успел положить голову на подушку, заснул крепким и спокойным, как всегда, сном.

XVII

На другой день, в 11 часов утра, Вронский выехал на станцию Петербургской железной дороги встречать мать, и первое лицо, попавшееся ему на ступеньках большой лестницы, был Облонский, ожидавший с этим же поездом сестру.

– А! Ваше сиятельство! – крикнул Облонский. – Ты за кем?

– Я за матушкой, – улыбаясь, как и все, кто встречался с Облонским, отвечал Вронский, пожимая ему руку, и вместе с ним взойшел на лестницу. – Она нынче должна быть из Петербурга.

– А я тебя ждал до двух часов. Куда же поехал от Щербацких?

– Домой, – отвечал Вронский. – Признаться, мне так было приятно вчера после Щербацких, что никуда не хотелось.

– Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам, – продекламировал Степан Аркадьич точно так же, как прежде Левину.

Вронский улыбнулся с таким видом, что он не отрекается от этого, но тотчас же переменил разговор.

– А ты кого встречаешь? – спросил он.

– Я? я хорошенькую женщину, – сказал Облонский.

– Вот как!

– *Honni soit qui mal y pense!*⁷ Сестру Анну.

– Ах, это Каренину? – сказал Вронский.

– Ты ее, верно, знаешь?

– Кажется, знаю. Или нет... Право, не помню, – рассеянно отвечал Вронский, смутно представляя себе при имени Карениной что-то чопорное и скучное.

– Но Алексея Александровича, моего знаменитого зятя, верно, знаешь. Его весь мир знает.

– То есть знаю по репутации и по виду. Знаю, что он умный, ученый, божественный что-то... Но ты знаешь, это не в моей... *not in my line*⁸, – сказал Вронский.

– Да, он очень замечательный человек; немножко консерватор, но славный человек, – заметил Степан Аркадьич, – славный человек.

– Ну, и тем лучше для него, – сказал Вронский, улыбаясь. – А, ты здесь, – обратился он к высокому старому лакею матери, стоявшему у двери, – войди сюда.

Вронский в это последнее время, кроме общей для всех приятности Степана Аркадьича, чувствовал себя привязанным к нему еще тем, что он в его воображении соединялся с Кити.

– Ну что ж, в воскресенье сделаем ужин для *дивы*? – сказал он ему, с улыбкой взяв его под руку.

– Непременно. Я сберу подписку. Ах, познакомился ты вчера с моим приятелем Левиным? – спросил Степан Аркадьич.

– Как же. Но он что-то скоро уехал.

– Он славный малый, – продолжал Облонский. – Не правда ли?

– Я не знаю, – отвечал Вронский, – отчего это во всех москвичах, разумеется исключая тех, с кем говорю, – шутливо вставил он, – есть что-то резкое. Что-то они всё на дыбы становятся, сердятся, как будто всё хотят дать почувствовать что-то...

– Есть это, правда, есть... – весело смеясь, сказал Степан Аркадьич.

– Что, скоро ли? – обратился Вронский к служащему.

⁷ Стыдно тому, кто это дурно истолкует! (*франц.*)

⁸ Не в моей компетенции (*англ.*).

– Поезд вышел, – отвечал служитель.

Приближение поезда все более и более обозначалось движением приготовлений на станции, беганьем артельщиков, появлением жандармов и служащих и подъездом встречающих. Сквозь морозный пар виднелись рабочие в полушубках, в мягких валеных сапогах, переходившие через рельсы загибающихся путей. Слышался свист паровика на дальних рельсах и передвижение чего-то тяжелого.

– Нет, – сказал Степан Аркадьич, которому очень хотелось рассказать Вронскому о намерениях Левина относительно Кити. – Нет, ты неверно оценил моего Левина. Он очень нервный человек и бывает неприятен, правда, но зато иногда он бывает очень мил. Эта такая честная, правдивая натура, и сердце золотое. Но вчера были особенные причины, – с значительной улыбкой продолжал Степан Аркадьич, совершенно забывая то искреннее сочувствие, которое он вчера испытывал к своему приятелю, и теперь испытывая такое же, только к Вронскому. – Да, была причина, почему он мог быть или особенно счастлив, или особенно несчастлив.

Вронский остановился и прямо спросил:

– То есть что же? Или он вчера сделал предложение твоей *belle soeur*?...⁹

– Может быть, – сказал Степан Аркадьич. – Что-то мне показалось такое вчера. Да если он рано уехал и был еще не в духе, то это так... Он так давно влюблен, и мне его очень жаль.

– Вот как!.. Я думаю, впрочем, что она может рассчитывать на лучшую партию, – сказал Вронский и, выпрямив грудь, опять принялся ходить. – Впрочем, я его не знаю, – прибавил он. – Да, это тяжелое положение! От этого-то большинство и предпочитает знаться с Кларами. Там неудача доказывает только, что у тебя не достало денег, а здесь – твое достоинство на весах. Однако вот и поезд.

Действительно, вдали уже свистел паровоз. Через несколько минут платформа задрожала, и, пылая сбиваемым книзу от мороза паром, прокатился паровоз с медленно и мерно насупливающимся и растягивающимся рычагом среднего колеса и с кланяющимся, обвязанным, заиндевелым машинистом; а за тендером, все медленнее и более потрясая платформу, стал проходить вагон с багажом и с визжавшею собакой, наконец, подрагивая пред остановкой, подошли пассажирские вагоны.

Молодцеватый кондуктор, на ходу давая свисток, соскочил, и вслед за ним стали по одному сходить нетерпеливые пассажиры: гвардейский офицер, держась прямо и строго оглядываясь; вертлявый купчик с сумкой, весело улыбаясь; мужик с мешком через плечо.

Вронский, стоя рядом с Облонским, оглядывал вагоны и выходивших и совершенно забыл о матери. То, что он сейчас узнал про Кити, возбуждало и радовало его. Грудь его невольно выпрямлялась, и глаза блеснули. Он чувствовал себя победителем.

– Графиня Вронская в этом отделении, – сказал молодцеватый кондуктор, подходя к Вронскому.

Слова кондуктора разбудили его и заставили вспомнить о матери и предстоящем свидании с ней. Он в душе своей не уважал матери и, не отдавая себе и том отчета, не любил ее, хотя по понятиям того круга, в котором жил, по воспитанию своему, не мог себе представить других к матери отношений, как в высшей степени покорных и почтительных, и тем более внешне покорных и почтительных, чем менее в душе он уважал и любил ее.

⁹ Свояченице? (франц.)

XVIII

Вронский пошел за кондуктором в вагон и при входе в отделение остановился, чтобы дать дорогу выходящей даме. С привычным тактом светского человека, по одному взгляду на внешность этой дамы, Вронский определил ее принадлежность к высшему свету. Он извинился и пошел было в вагон, но почувствовал необходимость еще раз взглянуть на нее – не потому, что она была очень красива, не по тому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому, что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же перенесли на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшею ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке.

Вронский вошел в вагон. Мать его, сухая старушка с черными глазами и буколками, щурилась, вглядываясь в сына, и слегка улыбалась тонкими губами. Поднявшись с диванчика и передав горничной мешочек, она подала маленькую сухую руку сыну и, подняв его голову от руки, поцеловала его в лицо.

– Получил телеграмму? Здоров? Слава богу.

– Хорошо доехали? – сказал сын, садясь подле нее и невольно прислушиваясь к женскому голосу из-за двери. Он знал, что это был голос той дамы, которая встретила его при входе.

– Я все-таки с вами не согласна, – говорил голос дамы.

– Петербургский взгляд, сударыня.

– Не петербургский, а просто женский, – отвечала она.

– Ну-с, позвольте поцеловать вашу ручку.

– До свиданья, Иван Петрович. Да посмотрите, не тут ли брат, и пошлите его ко мне, – сказала дама у самой двери и снова вошла в отделение.

– Что ж, нашли брата? – сказала Вронская, обращаясь к даме.

Вронский вспомнил теперь, что это была Каренина.

– Ваш брат здесь, – сказал он, вставая. – Извините меня, я не узнал вас, да и наше знакомство было так коротко, – сказал Вронский, кланяясь, – что вы, верно, не помните меня.

– О, нет, – сказала она, – я бы узнала вас, потому что мы с вашей матушкой, кажется, всю дорогу говорили только о вас, – сказала она, позволяя, наконец, просившемуся наружу оживлению выразиться в улыбке. – А брата моего все-таки нет.

– Позови же его, Алеша, – сказала старая графиня.

Вронский вышел на платформу и крикнул:

– Облонский! Здесь!

Но Каренина не дождалась брата, а, увидев его, решительным легким шагом вышла из вагона. И, как только брат подошел к ней, она движением, поразившим Вронского своею решительностью и грацией, обхватила брата левою рукой за шею, быстро притянула к себе и крепко поцеловала. Вронский, не спуская глаз, смотрел на нее и, сам не зная чему, улыбался. Но вспомнив, что мать ждала его, он опять вошел в вагон.

– Не правда ли, очень мила? – сказала графиня про Каренину. – Ее муж со мною посадил, и я очень рада была. Всю дорогу мы с ней проговорили. Ну, а ты, говорят... *vous filez le parfait amour. Tant mieux, топ cher, tant mieux*¹⁰.

– Я не знаю, на что вы намекаете, тамап, – отвечал сын холодно. – Что ж, тамап, идем. Каренина опять вошла в вагон, чтобы проститься с графиней.

– Ну вот, вы, графиня, встретили сына, а я брата, – весело сказала она. – И все истории мои истощились; дальше нечего было бы рассказывать.

– Ну нет, милая, – сказала графиня, взяв ее за руку, – я бы с вами объехала вокруг света и не соскучилась бы. Вы одна из тех милых женщин, с которыми и поговорить и помолчать приятно. А о сыне вашем, пожалуйста, не думайте: нельзя же никогда не разлучаться.

Каренина стояла неподвижно, держась чрезвычайно прямо, и глаза ее улыбались.

– У Анны Аркадьевны, – сказала графиня, объясняя сыну, – есть сыночек восьми лет, кажется, и она никогда с ним не разлучалась и все мучается, что оставила его.

– Да, мы все время с графиней говорили, я о своем, она о своем сыне, – сказала Каренина, и опять улыбка осветила ее лицо, улыбка ласковая, относившаяся к нему.

– Вероятно, это вам очень наскучило, – сказал он, сейчас, на лету, подхватывая этот мяч кокетства, который она бросила ему. Но она, видимо, не хотела продолжать разговора в этом тоне и обратилась к старой графине:

– Очень благодарю вас. Я и не видала, как провела вчерашний день. До свиданья, графиня.

– Прощайте, мой дружок, – отвечала графиня. – Дайте поцеловать ваше хорошенькое личико. Я просто, по-старушечьи, прямо говорю, что полюбила вас.

Как ни казенна была эта фраза, Каренина, видимо, от души поверила и порадовалась этому. Она покраснела, слегка нагнулась, подставила свое лицо губам графини, опять выпрямилась и с тою же улыбкой, волновавшейся между губами и глазами, подала руку Вронскому. Он пожал маленькую ему поданную руку и, как чему-то особенному, обрадовался тому энергическому пожатию, с которым она крепко и смело тряхнула его руку. Она вышла быстрою походкой, так странно легко носившею ее довольно полное тело.

– Очень мила, – сказала старушка.

То же самое думал ее сын. Он провожал ее глазами до тех пор, пока не скрылась ее грациозная фигура, и улыбка остановилась на его лице. В окно он видел, как она подошла к брату, положила ему руку на руку и что-то оживленно начала говорить ему, очевидно о чем-то не имеющем ничего общего с ним, с Вронским, и ему это показалось досадным.

– Ну что, тамап, вы совершенно здоровы? – повторил он, обращаясь к матери.

– Все хорошо, прекрасно. Alexandre очень был мил. И Marie очень хороша стала. Она очень интересна.

И опять начала рассказывать о том, что более всего интересовало ее, о крестинах внука, для которых она ездила в Петербург, и про особенную милость государя к старшему сыну.

– Вот и Лаврентий, – сказал Вронский, глядя в окно, – теперь пойдемте, если угодно.

Старый дворецкий, ехавший с графиней, явился в вагон доложить, что все готово, и графиня поднялась, чтоб идти.

– Пойдемте, теперь мало народа, – сказал Вронский.

Девушка взяла мешок и собачку, дворецкий и артельщик другие мешки. Вронский взял под руку мать; но когда они уже выходили из вагона, вдруг несколько человек с испуганными лицами пробежали мимо. Пробежал и начальник станции в своей необыкновенного цвета фуражке. Очевидно, что-то случилось необыкновенное. Народ от поезда бежал назад.

– Что?... Что?... Где?... Бросился!. задавило!.. – слышалось между проходившими.

¹⁰ У тебя все еще тянется идеальная любовь. Тем лучше, мой милый, тем лучше (*франц.*).

Степан Аркадьич с сестрой под руку, тоже с испуганными лицами, вернулись и остановились, избегая народ, у входа в вагон.

Дамы вошли в вагон, а Вронский со Степаном Аркадьичем пошли за народом узнавать подробности несчастья.

Сторож, был ли он пьян или слишком закутан от сильного мороза, не слышал отодвигаемого задом поезда, и его раздавили.

Еще прежде чем вернулись Вронский и Облонский, дамы узнали эти подробности от дворецкого.

Облонский и Вронский оба видели обезображенный труп. Облонский, видимо, страдал. Он морщился и, казалось, готов был плакать.

– Ах, какой ужас! Ах, Анна, если бы ты видела! Ах, какой ужас! – приговаривал он.

Вронский молчал, и красивое лицо его было серьезно, но совершенно спокойно.

– Ах, если бы вы видели, графиня, – говорил Степан Аркадьич. – И жена его тут... Ужасно видеть ее... Она бросилась на тело. Говорят, он один кормил огромное семейство. Вот ужас!

– Нельзя ли что-нибудь сделать для нее? – взволнованным шепотом сказала Каренина.

Вронский взглянул на нее и тотчас же вышел из вагона.

– Я сейчас приду, татап, – прибавил он, обертываясь в дверях.

Когда он возвратился через несколько минут, Степан Аркадьич уже разговаривал с графиней о новой певице, а графиня нетерпеливо оглядывалась на дверь, ожидая сына.

– Теперь пойдемте, – сказал Вронский входя. Они вместе вышли. Вронский шел впереди с матерью. Сзади шла Каренина с братом. У выхода к Вронскому подошел догнавший его начальник станции.

– Вы передали моему помощнику двести рублей. Потрудитесь обозначить, кому вы назначаете их?

– Вдове, – сказал Вронский, пожимая плечами. – Я не понимаю, о чем спрашивать.

– Вы дали? – крикнул сзади Облонский и, прижав руку сестры, прибавил: – Очень мило, очень мило! Не правда ли, славный малый? Мое почтение, графиня.

И он с сестрой остановились, отыскивая ее девушку.

Когда они вышли, карета Вронских уже отъехала. Выходившие люди все еще переговаривались о том, что случилось.

– Вот смерть-то ужасная! – сказал какой-то господин, проходя мимо. – Говорят, на два куска.

Я думаю, напротив, самая легкая, мгновенная, – заметил другой.

– Как это не примут мер, – говорил третий.

Каренина села в карету, и Степан Аркадьич с удивлением увидел, что губы ее дрожат и она с трудом удерживает слезы.

– Что с тобой, Анна? – спросил он, когда они отъехали несколько сот сажен.

– Дурное предзнаменование, – сказала она.

– Какие пустяки! – сказал Степан Аркадьич. – Ты приехала, это главное. Ты не можешь представить себе, как я надеюсь на тебя.

– А ты давно знаешь Вронского? – спросила она.

– Да. Ты знаешь, мы надеемся, что он женится на Кити.

– Да? – тихо сказала Анна. – Ну, теперь давай говорить о тебе, – прибавила она, встряхивая головой, как будто хотела физически отогнать что-то лишнее и мешавшее ей. – Давай говорить о твоих делах. Я получила твое письмо и вот приехала.

– Да, вся надежда на тебя, – сказал Степан Аркадьич.

– Ну, расскажи мне все.

И Степан Аркадьич стал рассказывать.

Подъехав к дому, Облонский высадил сестру, вздохнул, пожал ее руку и отправился в присутствие.

XIX

Когда Анна вошла в комнату, Долли сидела в маленькой гостиной с белоголовым пухлым мальчиком, уж теперь похожим на отца, и слушала его урок из французского чтения. Мальчик читал, вертя в руке и стараясь оторвать чуть державшуюся пуговицу курточки. Мать несколько раз отнимала руку, но пухлая ручонка опять бралась за пуговицу. Мать оторвала пуговицу и положила ее в карман.

– Успокой ты руки, Гриша, – сказала она и опять взялась за свое одеяло, давнишнюю работу, за которую она всегда бралась в тяжелые минуты, и теперь вязала нервно, закидывая пальцем и считая петли. Хотя она и велела вчера сказать мужу, что ей дела нет до того, приедет или не приедет его сестра, она все приготовила к ее приезду и с волнением ждала золовку.

Долли была убита своим горем, вся поглощена им. Однако она помнила, что Анна, золовка, была жена одного из важнейших лиц в Петербурге и петербургская *grande dame*. И благодаря этому обстоятельству она не исполнила сказанного мужу, то есть не забыла, что приедет золовка. «Да, наконец, Анна ни в чем не виновата, – думала Долли. – Я о ней ничего, кроме самого хорошего, не знаю, и в отношении к себе я видела от нее только ласку и дружбу». Правда, как она могла запомнить свое впечатление в Петербурге у Карениных, ей не нравился самый дом их; что-то было фальшивое во всем складе их семейного быта. «Но за что же я не приму ее? Только бы не вздумала она утешать меня! – думала Долли. – Все утешения и увещания, и прощения христианские – все это я уж тысячу раз передумала, и все это не годится».

Все эти дни Долли была одна с детьми. Говорить о своем горе она не хотела, а с этим горем на душе говорить о постороннем она не могла. Она знала, что, так или иначе, она Анне выскажет все, и то ее радовала мысль о том, как она выскажет, то злила необходимость говорить о своем унижении с ней, его сестрой, и слышать от нее готовые фразы увещания и утешения.

Она, как часто бывает, глядя на часы, ждала ее каждую минуту и пропустила именно ту, когда гостья приехала, так что не слыхала звонка.

Услыхав шум платья и легких шагов уже в дверях, она оглянулась, и на измученном лице ее невольно выразилось не радость, а удивление. Она встала и обняла золовку.

– Как, уж приехала? – сказала она, целуя ее.

– Долли, как я рада тебя видеть!

– И я рада, – слабо улыбаясь и стараясь по выражению лица Анны узнать, знает ли она, сказала Долли. «Верно, знает», – подумала она, заметив соболезнование на лице Анны. – Ну, пойдем, я тебя проведу в твою комнату, – продолжала она, стараясь отдалить сколько возможно минуту объяснения.

– Это Гриша? Боже мой, как он вырос! – сказала Анна и, поцеловав его, не спуская глаз с Долли, остановилась и покраснела. – Нет, позволь никуда не ходить.

Она сняла платок, шляпу и, зацепив ею за прядь своих черных, везде вьющихся волос, мотая головой, отцепляла волоса.

– А ты сияешь счастьем и здоровьем! – сказала Долли почти с завистью.

– Я?... Да, – сказала Анна. – Боже мой, Таня! Ровесница Сереже моему, – прибавила она, обращаясь ко вбежавшей девочке. Она взяла ее на руки и поцеловала. – Прелестная девочка, прелесть! Покажи же мне всех.

Она называла их и припоминала не только имена, но года, месяцы, характеры, болезни всех детей, и Долли не могла не оценить этого.

– Ну, так пойдем к ним, – сказала она. – Вася спит теперь, жалко.

Осмотрев детей, они сели, уже одни, в гостиной, пред кофеем. Анна взялась за поднос и потом отодвинула его.

– Долли, – сказала она, – он говорил мне.

Долли холодно посмотрела на Анну. Она ждала теперь притворно-сочувственных фраз; но Анна ничего такого не сказала.

– Долли, милая! – сказала она, – я не хочу ни говорить тебе за него, ни утешать; это нельзя. Но, душенька, мне просто жалко, жалко тебя всею душой!

Из-за густых ресниц ее блестящих глаз вдруг показались слезы. Она пересела ближе к невестке и взяла ее руку своею энергическою маленькою рукой. Долли не отстранилась, но лицо ее не изменяло своего сухого выражения. Она сказала:

– Утешить меня нельзя. Все потеряно после того, что было, все пропало!

И как только она сказала это, выражение лица ее вдруг смягчилось. Анна подняла сухую, худую руку Долли, поцеловала ее и сказала:

– Но, Долли, что же делать, что же делать? Как лучше поступить в этом ужасном положении? – вот о чем надо подумать.

– Все кончено, и больше ничего, – сказала Долли. – И хуже всего то, ты пойми, что я не могу его бросить; дети, я связана. А с ним жить я не могу, мне мука видеть его.

– Долли, голубчик, он говорил мне, но я от тебя хочу слышать, скажи мне все.

Долли посмотрела на нее вопросительно.

Участие и любовь непритворные видны были на лице Анны.

– Изволь, – вдруг сказала она. – Но я скажу сначала. Ты знаешь, как я вышла замуж. Я с воспитанием тамап не только была невинна, но я была глупа. Я ничего не знала. Говорят, я знаю, мужья рассказывают женам свою прежнюю жизнь, но Стива... – она поправилась, – Степан Аркадьич ничего не сказал мне. Ты не поверишь, но я до сей поры думала, что я одна женщина, которую он знал. Так я жила восемь лет. Ты пойми, что я не только не подозревала неверности, но что я считала это невозможным, и тут, представь себе, с такими понятиями узнать вдруг весь ужас, всю гадость... Ты пойми меня. Быть уверенной вполне в своем счастье, и вдруг... – продолжала Долли, удерживая рыдания, – и получить письмо... письмо его к своей любовнице, к моей гувернантке. Нет, это слишком ужасно! – Она поспешно вынула платок и закрыла им лице. – Я понимаю еще увлечение, – продолжала она, помолчав, – но обдуманно, хитро обманывать меня... с кем же?... Продолжать быть моим мужем вместе с нею... это ужасно! Ты не можешь понять...

– О, нет, я понимаю! Понимаю, милая Долли, понимаю, – говорила Анна, пожимая ее руку.

– И ты думаешь, что он понимает весь ужас моего положения? – продолжала Долли. – Нисколько! Он счастлив и доволен.

– О, нет! – быстро перебила Анна. – Он жалок, он убит раскаяньем...

– Способен ли он к раскаянью? – перебила Долли, внимательно глядя в лицо золовки.

– Да, я его знаю. Я не могла без жалости смотреть на него. Мы его обе знаем. Он добр, но он горд, а теперь так унижен. Главное, что меня тронуло (и тут Анна угадала главное, что могло тронуть Долли) – его мучают две вещи: то, что ему стыдно детей, и то, что он, любя тебя... да, да, любя больше всего на свете, – поспешно перебила она хотевшую возражать Долли, – сделал тебе больно, убил тебя. «Нет, нет, она не простит», все говорит он.

Долли задумчиво смотрела мимо золовки, слушая ее слова.

– Да, я понимаю, что положение его ужасное; виноватому хуже, чем невинному, – сказала она, – если он чувствует, что от вины его все несчастье. Но как же простить, как мне опять быть его женою после нее? Мне жить с ним теперь будет мученье, именно потому, что я любила его, как любила, что я люблю свою прошедшую любовь к нему...

И рыдания перервали ее слова.

Но как будто нарочно, каждый раз, как она смягчалась, она начинала опять говорить о том, что раздражало ее.

– Она ведь молода, ведь она красива, – продолжала она. – Ты понимаешь ли, Анна, что у меня моя молодость, красота взяты кем? Им и его детьми. Я отслужила ему, и на этой службе ушло все мое, и ему теперь, разумеется, свежее пошлое существо приятнее. Они, верно, говорили между собою обо мне или, еще хуже, умалчивали, – ты понимаешь? – Опять ненавистью зажглись ее глаза. – И после этого он будет говорить мне... Что ж, я буду верить ему? Никогда. Нет, уж кончено все, все, что составляло утешенье, награду труда, мук... Ты согласишься ли? я сейчас учила Гришу: прежде это бывало радость, теперь мученье. Зачем я стараюсь, тружусь? Зачем дети? Ужасно то, что вдруг душа моя перевернулась, и вместо любви, нежности у меня к нему одна злоба, да, злоба. Я бы убила его и...

– Душенька, Долли, я понимаю, но не мучь себя. Ты так оскорблена, так возбуждена, что ты многое видишь не так.

Долли затихла, и они минуты две помолчали.

– Что делать, придумай, Анна, помоги. Я все передумала и ничего не вижу.

Анна ничего не могла придумать, но сердце ее прямо отзывалось на каждое слово, на каждое выражение лица невестки.

– Я одно скажу, – начала Анна, – я его сестра, я знаю его характер, эту способность все, все забыть (она сделала жест пред лбом), эту способность полного увлечения, но зато и полного раскаяния. Он не верит, не понимает теперь, как он мог сделать то, что сделал.

– Нет, он понимает, он понимал! – перебила Долли. – Но я... ты забываешь меня... разве мне легче?

– Постой! Когда он говорил мне, признаюсь тебе, я не понимала еще всего ужаса твоего положения. Я видела только его и то, что семья расстроена; мне его жалко было, но, поговорив с тобой, я, как женщина, вижу другое; я вижу твои страдания, и мне, не могу тебе сказать, как жаль тебя! Но, Долли, душенька, я понимаю твои страдания вполне, только одного я не знаю: я не знаю... я не знаю, насколько в душе твоей есть еще любви к нему. Это ты знаешь, – настолько ли есть, чтобы можно было простить. Если есть, то прости!

– Нет, – начала Долли; но Анна прервала ее, целуя еще раз ее руку.

– Я больше тебя знаю свет, – сказала она. – Я знаю этих людей, как Стива, как они смотрят на это. Ты говоришь, что он с ней говорил об тебе. Этого не было. Эти люди делают неверности, но свой домашний очаг и жена – это для них святыня. Как-то у них эти женщины остаются в презрении и не мешают семье. Они какую-то черту проводят непроходимую между семьей и этим. Я этого не понимаю, но это так.

– Да, но он целовал ее...

– Долли, постой, душенька. Я видела Стиву, когда он был влюблен в тебя. Я помню это время, когда он приезжал ко мне и плакал, говоря о тебе, и какая поэзия и высота была ты для него, и я знаю, что чем больше он с тобой жил, тем выше ты для него становилась. Ведь мы смеялись, бывало, над ним, что он к каждому слову прибавлял: «Долли удивительная женщина». Ты для него божество всегда была и осталась, а это увлечение не души его...

– Но если это увлечение повторится?

– Оно не может, как я понимаю...

– Да, но ты простила бы?

– Не знаю. Я не могу судить... Нет, могу, – сказала Анна, подумав; и, уловив мыслью положение и свесив его на внутренних весах, прибавила: – Нет, могу, могу, могу. Да, я простила бы. Я не была бы тою же, да, но простила бы, и так простила бы, как будто этого не было, совсем не было.

– Ну, разумеется, – быстро прервала Долли, как будто она говорила то, что не раз думала, – иначе бы это не было прощение. Если простить, то совсем, совсем. Ну пойдем, я тебя проведу в твою комнату, – сказала она, вставая, и по дороге Долли обняла Анну. – Милая моя, как я рада, что ты приехала, как я рада. Мне легче, гораздо легче стало.

XX

Весь день этот Анна провела дома, то есть у Облонских, и не принимала никого, так как уж некоторые из ее знакомых, успев узнать о ее прибытии, приезжали в этот же день. Анна все утро провела с Долли и с детьми. Она только послала записочку к брату, чтоб он непременно обедал дома. «Приезжай, Бог милостив», – писала она.

Облонский обедал дома; разговор был общий, и жена говорила с ним, называя его «ты», чего прежде не было. В отношениях мужа с женой оставалась та же отчужденность, но уже не было речи о разлуке, и Степан Аркадьич видел возможность объяснения и примирения.

Тотчас после обеда приехала Кити. Она знала Анну Аркадьевну, но очень мало, и ехала теперь к сестре не без страху пред тем, как ее примет эта петербургская светская дама, которую все так хвалили. Но она понравилась Анне Аркадьевне, – это она увидела сейчас. Анна, очевидно, любовалась ее красотой и молодостью, и не успела Кити опомниться, как она уже чувствовала себя не только под ее влиянием, но чувствовала себя влюбленной в нее, как способны влюбляться молодые девушки в замужних и старших дам. Анна непохожа была на светскую даму или на мать восьмилетнего сына, но скорее походила бы на двадцатилетнюю девушку по гибкости движений, свежести и установившемуся на ее лице оживлению, выбивавшемуся то в улыбку, то во взгляд, если бы не серьезное, иногда грустное выражение ее глаз, которое поражало и притягивало к себе Кити. Кити чувствовала, что Анна была совершенно проста и ничего не скрывала, но что в ней был другой какой-то высший мир недоступных для нее интересов, сложных и поэтических.

После обеда, когда Долли вышла в свою комнату, Анна быстро встала и подошла к брату, который закуривал сигару.

– Стива, – сказала она ему, весело подмигивая, крестя его и указывая глазами на дверь. – Иди, и помогай тебе Бог.

Он бросил сигару, поняв ее, и скрылся за дверью.

Когда Степан Аркадьич ушел, она вернулась на диван, где сидела окруженная детьми. Оттого ли, что дети видели, что мама любила эту тетю, или оттого, что они сами чувствовали в ней особенную прелесть, но старшие два, а за ними и меньшие, как это часто бывает с детьми, еще до обеда прилипли к новой тете и не отходили от нее. И между ними составилось что-то вроде игры, состоящей в том, чтобы как можно ближе сидеть подле тети, дотрагиваться до нее, держать ее маленькую руку, целовать ее, играть с ее кольцом или хоть дотрагиваться до оборки ее платья.

– Ну, ну, как мы прежде сидели, – сказала Анна Аркадьевна, садясь на свое место.

И опять Гриша подsunул голову под ее руку и прислонился головой к ее платью и засиял гордостью и счастьем.

– Так теперь когда же бал? – обратилась она к Кити.

– На будущей неделе, и прекрасный бал. Один из тех балов, на которых всегда весело.

– А есть такие, где всегда весело? – с нежною насмешкой сказала Анна.

– Странно, но есть. У Бобрищевых всегда весело, у Никитиных тоже, а у Межковых всегда скучно. Вы разве не замечали?

– Нет, душа моя, для меня уж нет таких балов, где весело, – сказала Анна, и Кити увидела в ее глазах тот особенный мир, который ей не был открыт. – Для меня есть такие, на которых менее трудно и скучно...

– Как может быть *вам* скучно на бале?

– Отчего же *мне* не может быть скучно на бале? – спросила Анна.

Кити заметила, что Анна знала, какой последует ответ.

– Оттого, что вы всегда лучше всех.

Анна имела способность краснеть. Она покраснела и сказала:

– Во-первых, никогда; а во-вторых, если б это и было, то зачем мне это?

– Вы поедете на этот бал? – спросила Кити.

– Я думаю, что нельзя будет не ехать. Вот это возьми, – сказала она Тане, которая стаскивала легко сходявшееся кольцо с ее белого, тонкого в конце пальца.

– Я очень рада буду, если вы поедете. Я бы так хотела вас видеть на бале.

– По крайней мере, если придется ехать, я буду утешаться мыслью, что это сделает вам удовольствие... Гриша, не тереби, пожалуйста, они и так все растрепались, – сказала она, поправляя выбившуюся прядь волос, которою играл Гриша.

– Я вас воображаю на бале в лиловом.

– Отчего же непременно в лиловом? – улыбаясь, спросила Анна. – Ну, дети, идите, идите. Слышите, мисс Гуль зовет чай пить, – сказала она, отрывая от себя детей и отправляя их в столовую.

– А я знаю, отчего вы зовете меня на бал. Вы ждете много от этого бала, и вам хочется, чтобы все тут были, все принимали участие.

– Почему вы знаете? Да.

– О! как хорошо ваше время, – продолжала Анна. – Помню и знаю этот голубой туман, вроде того, что на горах в Швейцарии. Этот туман, который покрывает все в блаженное то время, когда вот-вот кончится детство, и из этого огромного круга, счастливого, веселого, делается путь все уже и уже и весело и жутко входить в эту анфиладу, хотя она и светлая и прекрасная... Кто не прошел через это?

Кити молча улыбалась. «Но как же она прошла через это? Как бы я желала знать весь ее роман», – подумала Кити, вспоминая непоэтическую наружность Алексея Александровича, ее мужа.

– Я знаю кое-что. Стива мне говорил, и поздравляю вас, он мне очень нравится, – продолжала Анна, – я встретила Вронского на железной дороге.

– Ах, он был там? – спросила Кити, покраснев. – Что же Стива сказал вам?

– Стива мне все разболтал. И я очень была бы рада. Яехала вчера с матерью Вронского, – продолжала она, – и мать, не умолкая, говорила мне про него; это ее любимец; я знаю, как матери пристрастны, но...

– Что ж мать рассказывала вам?

– Ах, много! И я знаю, что он ее любимец, но все-таки видно, что это рыцарь... Ну, например, она рассказывала, что он хотел отдать все состояние брату, что он в детстве еще что-то необыкновенное сделал, спас женщину из воды. Словом, герой, – сказала Анна, улыбаясь и вспоминая про эти двести рублей, которые он дал на станции.

Но она не рассказала про эти двести рублей. Почему-то ей неприятно было вспоминать об этом. Она чувствовала, что в этом было что-то касающееся до нее и такое, чего не должно было быть.

– Она очень просила меня поехать к ней, – продолжала Анна, – и я рада повидать старушку и завтра поеду к ней. Однако, слава богу, Стива долго остается у Долли в кабинете, – прибавила Анна, переменяя разговор и вставая, как показалось Кити, чем-то недовольная.

– Нет, я прежде! нет, я! – кричали дети, окончив чай и выбегая к тете Анне.

– Все вместе! – сказала Анна и, смеясь, побежала им навстречу и обняла и повалила всю эту кучу копошащихся и визжащих от восторга детей.

XXI

К чаю больших Долли вышла из своей комнаты. Степан Аркадьич не выходил. Он, должно быть, вышел из комнаты жены задним ходом.

– Я боюсь, что тебе холодно будет наверху, – заметила Долли, обращаясь к Анне, – мне хочется перевести тебя вниз, и мы ближе будем.

– Ах, уж, пожалуйста, обо мне не заботьтесь, – отвечала Анна, вглядываясь в лицо Долли и стараясь понять, было или не было примирения.

– Тебе светло будет здесь, – отвечала невестка.

– Я тебе говорю, что я сплю везде и всегда как сурок.

– Об чем это? – сказал Степан Аркадьич, выходя из кабинета и обращаясь к жене.

По тону его и Кити и Анна сейчас поняли, что примирение состоялось.

– Я Анну хочу перевести вниз, но надо гардины перевесить. Никто не сумеет сделать, надо самой, – отвечала Долли, обращаясь к нему.

«Бог знает, вполне ли помирились?» – подумала Анна, услышав ее тон, холодный и спокойный.

– Ах, полно, Долли, все делать трудности, – сказал муж. – Ну, хочешь, я все сделаю...

«Да, должно быть, помирились», – подумала Анна.

– Знаю, как ты все сделаешь, – отвечала Долли, – скажешь Матвею сделать то, чего нельзя сделать, сам уедешь, а он все перепутает, – и привычная насмешливая улыбка морщила концы губ Долли, когда она говорила это.

«Полное, полное примиренье, полное, – подумала Анна, – слава богу!» – и, радуясь тому, что она была причиной этого, она подошла к Долли и поцеловала ее.

– Совсем нет, отчего ты так презираешь нас с Матвеем? – сказал Степан Аркадьич, улыбаясь чуть заметно и обращаясь к жене.

Весь вечер, как всегда, Долли была слегка насмешлива по отношению к мужу, а Степан Аркадьич доволен и весел, но настолько, чтобы не показать, что он, будучи прощен, забыл свою вину.

В половине десятого особенно радостная и приятная вечерняя семейная беседа за чайным столом у Облонских была нарушена самым, по-видимому, простым событием, но это простое событие почему-то всем показалось странным. Разговорившись об общих петербургских знакомых, Анна быстро встала.

– Она у меня есть в альбоме, – сказала она, – да и кстати я покажу моего Сережу, – прибавила она с гордою материнскою улыбкой.

К десяти часам, когда она обыкновенно прощалась с сыном и часто сама, пред тем как ехать на бал, укладывала его, ей стало грустно, что она так далеко от него; и о чем бы ни говорили, она нет-нет и возвращалась мыслью к своему кудрявому Сереже. Ей захотелось посмотреть на его карточку и поговорить о нем. Воспользовавшись первым предложением, она встала и своею легкою, решительною походкой пошла за альбомом. Лестница наверх, в ее комнату, выходила на площадку большой входной теплой лестницы.

В то время, как она выходила из гостиной, в передней послышался звонок.

– Кто это может быть? – сказала Долли.

– За мной рано, а кому-нибудь поздно, – заметила Кити.

– Верно, с бумагами, – прибавил Степан Аркадьич, и, когда Анна проходила мимо лестницы, слуга взбегал наверх, чтобы доложить о приехавшем, а сам приехавший стоял у лампы. Анна, взглянув вниз, узнала тотчас же Вронского, и странное чувство удовольствия и вместе страха чего-то вдруг шевельнулось у нее в сердце. Он стоял, не снимая пальто, и что-то доставал из кармана. В ту минуту как она поравнялась с серединой лестницы, он поднял глаза,

увидал ее, и в выражении его лица сделалось что-то пристыженное и испуганное. Она, слегка наклонив голову, прошла, а вслед за ней послышался громкий голос Степана Аркадьича, звавшего его войти, и негромкий, мягкий и спокойный голос отказывавшегося Вронского.

Когда Анна вернулась с альбомом, его уже не было, и Степан Аркадьич рассказывал, что он заезжал узнать об обеде, который они завтра давали приезжей знаменитости.

– Он ни за что не хотел войти. Какой-то он странный, – прибавил Степан Аркадьич.

Кити покраснела. Она думала, что она одна поняла, зачем он приезжал и отчего не вошел. «Он был у нас, – думала она, – и не застал и подумал, я здесь; но не вошел, оттого что думал – поздно, и Анна здесь».

Все переглянулись, ничего не сказав, и стали смотреть альбом Анны.

Ничего не было ни необыкновенного, ни странного в том, что человек заехал к приятелю в половине десятого узнать подробности затеваемого обеда и не вошел; но всем это показалось странно. Более всех странно и нехорошо это показалось Анне.

XXII

Бал только что начался, когда Кити с матерью входила на большую, уставленную цветами и лакеями в пудре и красных кафтанах, залитую светом лестницу. Из зал несли стоявший в них равномерный, как в улье, шорох движения, и, пока они на площадке между деревьями оправляли перед зеркалом прически, из залы слышались осторожно-отчетливые звуки скрипок оркестра, начавшего первый вальс. Штатский старичок, оправлявший свои седые височки у другого зеркала и изливавший от себя запах духов, столкнулся с ними на лестнице и посторонился, видимо любясь незнакомою ему Кити. Безбородый юноша, один из тех светских юношей, которых старый князь Щербацкий называл тютюками, в чрезвычайно открытом жилете, оправляя на ходу белый галстук, поклонился им и, пробежав мимо, вернулся, приглашая Кити на кадрили. Первая кадрили была уж отдана Вронскому, она должна была отдать этому юноше вторую. Военный, застегивая перчатку, сторонился у двери и, поглаживая усы, любовался на розовую Кити.

Несмотря на то, что туалет, прическа и все приготовления к балу стоили Кити больших трудов и соображений, она теперь, в своем сложном тюлевом платье на розовом чехле, вступала на бал так свободно и просто, как будто все эти розетки, кружева, все подробности туалета не стоили ей и ее домашним ни минуты внимания, как будто она родилась в этом тюле, кружевах, с этою высокою прической, с розой и двумя листками наверху.

Когда старая княгиня пред входом в залу хотела оправить на ней завернувшуюся ленту пояса, Кити слегка отклонилась. Она чувствовала, что все само собою должно быть хорошо и грациозно на ней и что поправлять ничего не нужно.

Кити была в одном из своих счастливых дней. Платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта, розетки не смялись и не оторвались; розовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, а веселили ножку. Густые косы белокурых волос держались как свои на маленькой головке. Пуговицы все три застегнулись, не порвавшись, на высокой перчатке, которая обвила ее руку, не изменив ее формы. Черная бархатка медальона особенно нежно окружила шею. Бархатка эта была прелесть, и дома, глядя в зеркало на свою шею, Кити чувствовала, что эта бархатка говорила. Во всем другом могло еще быть сомнение, но бархатка была прелесть. Кити улыбнулась и здесь на бале, взглянув на нее в зеркало. В обнаженных плечах и руках Кити чувствовала холодную мраморность, чувство, которое она особенно любила. Глаза блестели, и румяные губы не могли не улыбаться от сознания своей привлекательности. Не успела она войти в залу и дойти до тюлево-ленто-кружевно-цветной толпы дам, ожидавших приглашения танцевать (Кити никогда не стаивала в этой толпе), как уж ее пригласили на вальс, и пригласил лучший кавалер, главный кавалер на бальной иерархии, знаменитый дирижер балов, церемониймейстер, женатый, красивый и статный мужчина Егорушка Корсунский. Только что оставив графиню Банину, с которою он протанцевал первый тур вальса, он, оглядывая свое хозяйство, то есть пустившихся танцевать несколько пар, увидел входившую Кити и подбежал к ней тою особенною, свойственною только дирижерам балов развязною иноходью и, поклонившись, даже не спрашивая, желает ли она, занес руку, чтоб обнять ее тонкую талию. Она оглянулась, кому передать веер, и хозяйка, улыбаясь ей, взяла его.

– Как хорошо, что вы приехали вовремя, – сказал он, обнимая ее талию, – а то, что за манера опаздывать.

Она положила, согнувши, левую руку на его плечо, и маленькие ножки в розовых ботинках быстро, легко и мерно задвигались в такт музыки по скользкому паркету.

– Отдыхаешь, вальсируя с вами, – сказал он ей, пускаясь в первые небыстрые шаги вальса. – Прелесть, какая легкость, *précision*¹¹, – говорил он ей то, что говорил почти всем хорошим знакомым.

Она улыбнулась на его похвалу и через его плечо продолжала разглядывать залу. Она была не вновь выезжающая, у которой на бале все лица сливаются в одно волшебное впечатление; она и не была затасканная по балам девушка, которой все липа бала так знакомы, что наскучили; но она была на середине этих двух, – она была возбуждена, а вместе с тем обладала собой настолько, что могла наблюдать. В левом углу залы, она видела, сгруппировался цвет общества. Там была до невозможного обнаженная красавица Лиди, жена Корсунского, там была хозяйка, там сиял своею лысиной Кривин, всегда бывший там, где цвет общества; туда смотрели юноши, не смея подойти; и там она нашла глазами Стиву и потом увидела прелестную фигуру и голову Анны в черном бархатном платье. И он был тут. Кити не видела его с того вечера, когда она отказала Левину. Кити своими дальнорезкими глазами тотчас узнала его и даже заметила, что он смотрит на нее.

– Что ж, еще тур? Вы не устали? – сказал Корсунский, слегка запыхавшись.

– Нет, благодарствуйте.

– Куда же отвести вас?

– Каренина тут, кажется... отведите меня к ней.

– Куда прикажете.

И Корсунский завальсировал, умеряя шаг, прямо на толпу в левом углу залы, приговаривая: «*Pardon, mesdames, pardon, pardon, mesdames*», и, лавируя между морем кружев, тюля и лент и не зацепив ни за перышко, повернул круто свою даму, так что открылись ее тонкие ножки, в ажурных чулках, а шлейф разнесло опахалом и закрыло им колени Кривину. Корсунский поклонился, выпрямил открытую грудь и подал руку, чтобы провести ее до Анны Аркадьевны. Кити, раскрасневшись, сняла шлейф с колен Кривина и, закруженная немного, оглянулась, отыскивая Анну. Анна стояла, окруженная дамами и мужчинами, разговаривая. Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной крепкой шее была нитка жемчугу.

Кити видела каждый день Анну, была влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая и оживленная.

Она стояла, как и всегда, чрезвычайно прямо держась, и, когда Кити подошла к этой кучке, говорила с хозяином дома, слегка поворотив к нему голову.

– Нет, я не брошу камня, – отвечала она ему на что-то, – хотя я не понимаю, – продолжала она, пожав плечами, и тотчас же с нежною улыбкой покровительства обратилась к Кити. Беглым женским взглядом окинув ее туалет, она сделала чуть заметное, но понятное для Кити, одобрительное ее туалету и красоте движение головой. – Вы и в залу входите танцуя, – прибавила она.

¹¹ Точность (*франц.*).

– Это одна из моих вернейших помощниц, – сказал Корсунский, кланяясь Анне Аркадьевне, которой он не видал еще. – Княжна помогает сделать бал веселым и прекрасным. Анна Аркадьевна, тур вальса, – сказал он, нагибаясь.

– А вы знакомы? – спросил хозяин.

– С кем мы не знакомы? Мы с женой как белые волки, нас все знают, – отвечал Корсунский. – Тур вальса, Анна Аркадьевна.

– Я не танцую, когда можно не танцевать, – сказала она.

– Но нынче нельзя, – отвечал Корсунский.

В это время подходил Вронский.

– Ну, если нынче нельзя не танцевать, так пойдемте, – сказала она, не замечая поклона Вронского, и быстро подняла руку на плечо Корсунского.

«За что она недовольна им?» – подумала Кити, заметив, что Анна умышленно не ответила на поклон Вронского. Вронский подошел к Кити, напоминая ей о первой кадрили и сожалея, что все это время не имел удовольствия ее видеть. Кити смотрела, любуясь, на вальсировавшую Анну и слушала его. Она ждала, что он пригласит ее на вальс, но он не пригласил, и она удивленно взглянула на него. Он покраснел и поспешно пригласил вальсировать, но только что он обнял ее тонкую талию и сделал первый шаг, как вдруг музыка остановилась. Кити посмотрела на его лицо, которое было на таком близком от нее расстоянии, и долго потом, чрез несколько лет, этот взгляд, полный любви, которым она тогда взглянула на него и на который он не ответил ей, мучительным стыдом резал ее сердце.

– Pardon, pardon! Вальс, вальс! – закричал с другой стороны залы Корсунский и, подхватив первую попавшуюся барышню, стал сам танцевать.

XXIII

Вронский с Кити прошел несколько туров вальса. После вальса Кити подошла к матери и едва успела сказать несколько слов с Нордстон, как Вронский уже пришел за ней для первой кадрили. Во время кадрили ничего значительного не было сказано, шел прерывистый разговор то о Корсунских, муже и жене, которых он очень забавно описывал, как милых сорокалетних детей, то о будущем общественном театре, и только один раз разговор затронул ее за живое, когда он спросил о Левине, тут ли он, и прибавил, что он очень понравился ему. Но Кити и не ожидала большего от кадрили. Она ждала с замиранием сердца мазурки. Ей казалось, что в мазурке все должно решиться. То, что он во время кадрили не пригласил ее на мазурку, не тревожило ее. Она была уверена, что она танцует мазурку с ним, как и на прежних балах, и пятерым отказала мазурку, говоря, что танцует. Весь бал до последней кадрили был для Кити волшебным сновидением радостных цветов, звуков и движений. Она не танцевала, только когда чувствовала себя слишком усталою и просила отдыха. Но, танцуя последнюю кадрили с одним из скучных юношей, которому нельзя было отказать, ей случилось быть vis-à-vis¹² с Вронским и Анной.

Она не сходилась с Анной с самого приезда и тут вдруг увидела ее опять совершенно новою и неожиданною. Она увидела в ней столь знакомую ей самой черту возбуждения от успеха. Она видела, что Анна пьяна вином возбуждаемого ею восхищения. Она знала это чувство и знала его признаки и видела их на Анне – видела дрожащий, вспыхивающий блеск в глазах и улыбку счастья и возбуждения, невольно изгибающую губы, и отчетливую грацию, верность и легкость движения.

«Кто? – спросила она себя. – Все или один?» И, не помогая мучившемуся юноше, с которым она танцевала, в разговоре, нить которого он упустил и не мог поднять, и наружно подчиняясь весело-громким повелительным крикам Корсунского, то бросающего всех в grand rond¹³, то в chaîne¹⁴, она наблюдала, и сердце ее сжималось больше и больше. «Нет, это не любованье толпы опьянило ее, а восхищение одного. И этот один? неужели это он?» Каждый раз, как он говорил с Анной, в глазах ее вспыхивал радостный блеск, и улыбка счастья изгибала ее румяные губы. Она как будто делала усилие над собой, чтобы не выказывать этих признаков радости, но они сами собой выступали на ее лице. «Но что он?» Кити посмотрела на него и ужаснулась. То, что Кити так ясно представлялось в зеркале ее лица, она увидела на нем. Куда делась его всегда спокойная, твердая манера и беспечно спокойное выражение лица? Нет он теперь каждый раз, как обращался к ней, немного сгибал голову, как бы желая пасть пред ней, и во взгляде его было одно выражение покорности и страха. «Я не оскорбить хочу, – каждый раз как будто говорил его взгляд, – но спасти себя хочу, и не знаю как». На лице его было такое выражение, которого она никогда не видала прежде.

Они говорили об общих знакомых, вели самый ничтожный разговор, но Кити казалось, что всякое сказанное ими слово решало их и ее судьбу. И странно то, что хотя они действительно говорили о том, как смешон Иван Иванович своим французским языком, и о том, что для Елецкой можно было бы найти лучше партию, а между тем эти слова имели для них значение, и они чувствовали это так же, как и Кити. Весь бал, весь свет, все закрылось туманом в душе Кити. Только пройденная ею строгая школа воспитания поддерживала ее и заставляла делать то, чего от нее требовали, то есть танцевать, отвечать на вопросы, говорить, даже улыбаться. Но пред началом мазурки, когда уже стали расставлять стулья и некоторые пары дви-

¹² Напротив (*франц.*).

¹³ Большой круг (*франц.*).

¹⁴ Цепь (*франц.*).

нулись из маленьких в большую залу, на Кити нашла минута отчаяния и ужаса. Она отказала пятерым и теперь не танцевала мазурки. Даже не было надежды, чтоб ее пригласили, именно потому, что она имела слишком большой успех в свете, и никому в голову не могло прийти, чтоб она не была приглашена до сих пор. Надо было сказать матери, что она больна, и уехать домой, но на это у нее не было силы. Она чувствовала себя убитой.

Она зашла в глубь маленькой гостиной и опустилась на кресло. Воздушная юбка платья поднялась облаком вокруг ее тонкого стана; одна обнаженная, худая, нежная девичья рука, бессильно опущенная, утонула в складках розового тюника; в другой она держала веер и быстрыми, короткими движениями обмахивала свое разгоряченное лицо. Но, вопреки этому виду бабочки, только что уцепившейся за травку и готовой, вот-вот вспорхнув, развернуть радужные крылья, страшное отчаяние щемило ей сердце.

«А может быть, я ошибаюсь, может быть, этого не было?»

И она опять вспоминала все, что она видела.

– Кити, что ж это такое? – сказала графиня Нордстон, по ковру неслышно подойдя к ней. – Я не понимаю этого.

У Кити дрогнула нижняя губа; она быстро встала.

– Кити, ты не танцуешь мазурку?

– Нет, нет, – сказала Кити дрожащим от слез голосом.

– Он при мне звал ее на мазурку, – сказала Нордстон, зная, что Кити поймет, кто он и она. – Она сказала: разве вы не танцуете с княжной Щербацкой?

– Ах, мне все равно! – отвечала Кити.

Никто, кроме ее самой, не понимал ее положения, никто не знал того, что она вчера отказала человеку, которого она, может быть, любила, и отказала потому, что верила в другого.

Графиня Нордстон нашла Корсунского, с которым она танцевала мазурку, и велела ему пригласить Кити.

Кити танцевала в первой паре, и, к ее счастью, ей не надо было говорить, потому что Корсунский все время бегал, распоряжаясь по своему хозяйству. Вронский с Анной сидели почти против нее. Она видела их своими дальнотзорными глазами, видела их и вблизи, когда они сталкивались в парах, и чем больше она видела их, тем больше убеждалась, что несчастье ее свершилось. Она видела, что они чувствовали себя наедине в этой полной зале. И на лице Вронского, всегда столь твердом и независимом, она видела то поразившее ее выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата.

Анна улыбалась, и улыбка передавалась ему. Она задумывалась, и он становился серьезен. Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. Она была прелестна в своем простом черном платье, прелестны были ее полные руки с браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны выющиеся волосы расстроившейся прически, прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своем оживлении; но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести.

Кити любовалась ею еще более, чем прежде, и все больше и больше страдала. Кити чувствовала себя раздавленной, и лицо ее выражало это. Когда Вронский увидел ее, столкнувшись с ней в мазурке, он не вдруг узнал ее – так она изменилась.

– Прекрасный бал! – сказал он ей, чтобы сказать что-нибудь.

– Да, – отвечала она.

В середине мазурки, повторяя сложную фигуру, вновь выдуманную Корсунским, Анна вышла на середину круга, взяла двух кавалеров и подозвала к себе одну даму и Кити. Кити испуганно смотрела на нее, подходя. Анна, прищурившись, смотрела на нее и улыбнулась, пожав ей руку. Но, заметив, что лицо Кити только выражением отчаяния и удивления ответило на ее улыбку, она отвернулась от нее и весело заговорила с другою дамой.

«Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней», – сказала себе Кити.

Анна не хотела оставаться ужинать, но хозяин стал просить ее.

– Полно, Анна Аркадьевна, – заговорил Корсунский, забирая ее обнаженную руку под рукав своего фрака. – Какая у меня идея котильона! Un bijou! ¹⁵

И он понемножку двигался, стараясь увлечь ее. Хозяин улыбался одобрительно.

– Нет, я не останусь, – ответила Анна, улыбаясь; но, несмотря на улыбку, и Корсунский и хозяин поняли по решительному тону, с каким она отвечала, что она не останется.

– Нет, я и так в Москве танцевала больше на вашем одном бале, чем всю зиму в Петербурге, – сказала Анна, оглядываясь на подле нее стоявшего Вронского. – Надо отдохнуть перед дорогой.

– А вы решительно едете завтра? – спросил Вронский.

– Да, я думаю, – отвечала Анна, как бы удивляясь смелости его вопроса; но неудержимый дрожащий блеск глаз и улыбки обжег его, когда она говорила это.

Анна Аркадьевна не осталась ужинать и уехала.

¹⁵ Прелесть! (*франц.*)

XXIV

«Да, что-то есть во мне противное, отталкивающее, — думал Левин, вышедши от Щербачих и пешком направляясь к брату. — И не гоюсь я для других людей. Гордость, говорят. Нет, у меня нет и гордости. Если бы была гордость, я не поставил бы себя в такое положение». И он представлял себе Вронского, счастливого, доброго, умного и спокойного, никогда, наверное, не бывавшего в том ужасном положении, в котором он был нынче вечером. «Да, она должна была выбрать его. Так надо, и жаловаться мне не на кого и не за что. Виноват я сам. Какое право имел я думать, что она захочет соединить свою жизнь с моею? Кто я? И что я? Ничтожный человек, никому и ни для кого не нужный». И он вспомнил о брате Николае и с радостью остановился на этом воспоминании. «Не прав ли он, что все на свете дурно и гадко? И едва ли мы справедливо судим и судили о брате Николае. Разумеется, с точки зрения Прокофья, видевшего его в оборванной шубе и пьяного, он презренный человек; но я знаю его иначе. Я знаю его душу и знаю, что мы похожи с ним. А я, вместо того чтобы ехать отыскать его, поехал обедать и сюда». Левин подошел к фонарю, прочел адрес брата, который у него был в бумажнике, и подозвал извозчика. Всю длинную дорогу до брата Левин живо припоминал себе все известные ему события из жизни брата Николая. Вспоминал он, как брат в университете и год после университета, несмотря на насмешки товарищей, жил как монах, в строгости исполняя все обряды религии, службы, посты и избегая всяких удовольствий, в особенности женщин; и потом как вдруг его прорвало, он сблизился с самыми гадкими людьми и пустился в самый беспутный разгул. Вспоминал потом про историю с мальчиком, которого он взял из деревни, чтобы воспитывать, и в припадке злости так избил, что началось дело по обвинению в причинении увечья. Вспоминал потом историю с шулером, которому он проиграл деньги, дал вексель и на которого сам подал жалобу, доказывая, что тот его обманул. (Это были те деньги, которые заплатил Сергей Иваныч.) Потом вспоминал, как он ночевал ночь в части за буйство. Вспоминал затеянный им постыдный процесс с братом Сергеем Иванычем за то, что тот будто бы не выплатил ему долю из материнского имения; и последнее дело, когда он уехал служить в Западный край и там попал под суд за побои, нанесенные старшине... Все это было ужасно гадко, но Левину это представлялось совсем не так гадко, как это должно было представляться тем, которые не знали Николая Левина, не знали всей его истории, не знали его сердца.

Левин помнил, как в то время, когда Николай был в периоде набожности, постов, монахов, служб церковных, когда он искал в религии помощи, узды на свою страстную натуру, никто не только не поддержал его, но все, и он сам, смеялись над ним. Его дразнили, звали его Ноем, монахом; а когда его прорвало, никто не помог ему, а все с ужасом и омерзением отвернулись.

Левин чувствовал, что брат Николай в душе своей, в самой основе своей души, несмотря на все безобразие своей жизни, не был более неправ, чем те люди, которые презирали его. Он не был виноват в том, что родился с своим неудержимым характером и стесненным чем-то умом. Но он всегда хотел быть хорошим. «Все выскажу ему, все заставлю его высказать и покажу ему, что я люблю и потому понимаю его», — решил сам с собою Левин, подъезжая в одиннадцатом часу к гостинице, указанной на адресе.

— Наверху 12-й и 13-й, — ответил швейцар на вопрос Левина.

— Дома?

— Должно, дома.

Дверь 12-го номера была полуотворена, и оттуда, в полосе света, выходил густой дым дурного и слабого табаку и слышался незнакомый Левину голос; но Левин тотчас же узнал, что брат тут; он услышал его покашливанье.

Когда он вошел в дверь, незнакомый голос говорил:

— Все зависит от того, насколько разумно и сознательно поведется дело.

Константин Левин заглянул в дверь и увидел, что говорит с огромной шапкой волос молодой человек в поддевке, а молодая рябоватая женщина, в шерстяном платье без рукавчиков и воротничков, сидит на диване. Брата не видно было. У Константина больно сжалось сердце при мысли о том, в среде каких чужих людей живет его брат. Никто не услышал его, и Константин, снимая калоши, прислушивался к тому, что говорил господин в поддевке. Он говорил о каком-то предприятии.

– Ну, черт их дери, привилегированные классы, – прокашливаясь, проговорил голос брата. – Маша! Добудь ты нам поужинать и дай вина, если осталось, а то пошли.

Женщина встала, вышла за перегородку и увидела Константина.

– Какой-то барин, Николай Дмитрич, – сказала она.

– Кого нужно? – сердито сказал голос Николая Левина.

– Это я, – отвечал Константин Левин, выходя на свет.

– Кто я? – еще сердитее повторил голос Николая. Слышно было, как он быстро встал, зацепив за что-то, и Левин увидел перед собою в дверях столь знакомую и все-таки поражающую своею дикостью и болезненностью огромную, худую, сутуловатую фигуру брата, с его большими испуганными глазами.

Он был еще хуже, чем три года тому назад, когда Константин Левин видел его в последний раз. На нем был короткий сюртук. И руки и широкие кости казались еще огромнее. Волосы стали реже, те же прямые усы висели на губы, те же глаза странно и наивно смотрели на вошедшего.

– А, Костя! – вдруг проговорил он, узнав брата, и глаза его засветились радостью. Но в ту же секунду он оглянулся на молодого человека и сделал столь знакомое Константину судорожное движение головой и шеей, как будто галстук жал его; и совсем другое, дикое, страдальческое и жестокое выражение остановилось на его исхудалом лице.

– Я писал и вам и Сергею Ивановичу, что я вас не знаю и не хочу знать. Что тебе, что вам нужно?

Он был совсем не такой, каким воображал его Константин. Самое тяжелое и дурное в его характере, то что делало столь трудным общение с ним, было позабыто Константином Левиным, когда он думал о нем; и теперь, когда увидел его лицо, в особенности это судорожное поворачиванье головы, он вспомнил все это.

– Мне ни для чего не нужно видеть тебя, – робко отвечал он. – Я просто приехал тебя видеть.

Робость брата, видимо, смягчила Николая. Он дернулся губами.

– А, ты так? – сказал он. – Ну, входи, садись. Хочешь ужинать? Маша, три порции принеси. Нет, постой. Ты знаешь, кто это? – обратился он к брату, указывая на господина в поддевке, – это господин Крицкий, мой друг еще из Киева, очень замечательный человек. Его, разумеется, преследует полиция, потому что он не подлец.

И он оглянулся по своей привычке на всех бывших в комнате. Увидав, что женщина, стоявшая в дверях, двинулась было идти, он крикнул ей: «Постой, я сказал». И с тем неумением, с тою нескладностью разговора, которые так знал Константин, он, опять оглядывая всех, стал рассказывать брату историю Крицкого: как его выгнали из университета за то, что он завел общество вспоможения бедным студентам и воскресные школы, и как потом он поступил в народную школу учителем, и как его оттуда также выгнали, и как потом судили за что-то.

– Вы Киевского университета? – сказал Константин Левин Крицкому, чтобы прервать установившееся неловкое молчание.

– Да, Киевского был, – насупившись, сердито, говорил Крицкий.

– А эта женщина, – перебил его Николай Левин, указывая на нее, – моя подруга жизни, Марья Николаевна. Я взял ее из дома, – и он дернулся шеей, говоря это. – Но люблю ее и уважаю и всех, кто меня хочет знать, – прибавил он, возвышая голос и хмурясь, – прошу любить и

уважать ее. Она все равно что моя жена, все равно. Так вот, ты знаешь, с кем имеешь дело. И если думаешь, что ты унизишься, так вот бог, а вот порог.

И опять глаза его вопросительно обежали всех.

– Отчего же я унижусь, я не понимаю.

– Так вели, Маша, принести ужинать: три порции, водки и вина... Нет, постой... Нет, не надо... Иди.

XXV

– Так видишь, – продолжал Николай Левин, с усилием морща лоб и подергиваясь. Ему, видимо, трудно было сообразить, что сказать и сделать. – Вот видишь ли... – Он указал в углу комнаты какие-то железные бруски, завязанные бечевками. – Видишь ли это? Это начало нового дела, к которому мы приступаем. Дело это есть производительная артель...

Константин почти не слушал. Он вглядывался в его болезненное, чахоточное лицо, и все больше и больше ему жалко было его, и он не мог заставить себя слушать то, что брат рассказывал ему про артель. Он видел, что эта артель есть только якорь спасения от презрения к самому себе. Николай Левин продолжал говорить:

– Ты знаешь, что капитал давит работника, – работники у нас, мужики, несут всю тягость труда и поставлены так, что, сколько бы они ни трудились, они не могут выйти из своего скотского положения. Все барыши заработной платы, на которые они бы могли улучшить свое положение, доставить себе досуг и вследствие этого образование, все излишки платы – отнимаются у них капиталистами. И так сложилось общество, что чем больше они будут работать, тем больше будут наживаться купцы, землевладельцы, а они будут скоты рабочие всегда. И этот порядок нужно изменить, – кончил он и вопросительно посмотрел на брата.

– Да, разумеется, – сказал Константин, вглядываясь в румянец, выступивший под выдающимися костями щек брата.

– И мы вот устраиваем артель слесарную, где все производство, и барыш, и, главное, орудия производства, все будет общее.

– Где же будет артель? – спросил Константин Левин.

– В селе Воздреме Казанской губернии.

– Да отчего же в селе? В селах, мне кажется, и так дела много. Зачем в селе слесарная артель?

– А затем, что мужики теперь такие же рабы, какими были прежде, и от этого-то вам с Сергеем Ивановичем и неприятно, что их хотят вывести из этого рабства, – сказал Николай Левин, раздраженный возражением.

Константин Левин вздохнул, оглядывая в это время комнату, мрачную и грязную. Этот вздох, казалось, еще более раздражил Николая.

– Знаю ваши с Сергеем Ивановичем аристократические воззрения. Знаю, что он все силы ума употребляет на то, чтоб оправдать существующее зло.

– Нет, да к чему ты говоришь о Сергее Ивановиче? – проговорил, улыбаясь, Левин.

– Сергей Иванович? А вот к чему! – вдруг при имени Сергея Ивановича вскрикнул Николай Левин, – вот к чему... Да что говорить? Только одно... Для чего ты приехал ко мне? Ты презираешь это, и прекрасно, и ступай с богом, ступай! – кричал он, вставая со стула, – и ступай, и ступай!

– Я нисколько не презираю, – робко сказал Константин Левин. – Я даже и не спорю.

В это время вернулась Марья Николаевна. Николай Левин сердито оглянулся на нее. Она быстро подошла к нему и что-то прошептала.

– Я нездоров, я раздражителен стал, – проговорил, успокаиваясь и тяжело дыша, Николай Левин, – и потом ты мне говоришь о Сергее Ивановиче и его статье. Это такой вздор, такая фальшь, такое самообманыванье. Что может писать о справедливости человек, который ее не знает? Вы читали его статью? – обратился он к Крицкому, опять садясь к столу и сдвигая с него до половины насыпанные папиросы, чтоб опростать место.

– Я не читал, – мрачно сказал Крицкий, очевидно не хотевший вступать в разговор.

– Отчего? – с раздражением обратился теперь к Крицкому Николай Левин.

– Потому что не считаю нужным терять на это время.

– То есть, позвольте, почему ж вы знаете, что вы потеряете время? Многим статья эта недоступна, то есть выше их. Но я, другое дело, я вижу насквозь его мысли и знаю, почему это слабо.

Все замолчали. Крицкий медлительно встал и взялся за шапку.

– Не хотите ужинать? Ну, прощайте. Завтра приходите со слесарем.

Только что Крицкий вышел, Николай Левин улыбнулся и подмигнул.

– Тоже плох, – проговорил он. – Ведь я вижу...

Но в это время Крицкий в дверях позвал его.

– Что еще нужно? – сказал он и вышел к нему в коридор. Оставшись один с Марьей Николаевной, Левин обратился к ней.

– А вы давно с братом? – сказал он ей.

– Да вот уж второй год. Здоровье их очень плохо стало. Пьют много, – сказала она.

– То есть как пьют?

– Водку пьют, а им вредно.

– А разве много? – прошептал Левин.

– Да, – сказала она, робко оглядываясь на дверь, в которой показался Николай Левин.

– О чем вы говорили? – сказал он, хмурясь и переводя испуганные глаза с одного на другого. – О чем?

– Ни о чем, – смутясь, отвечал Константин.

– А не хотите говорить, как хотите. Только нечего тебе с ней говорить. Она девка, а ты барин, – проговорил он, подергиваясь шеей.

– Ты, я ведь вижу, все понял и оценил и с сожалением относишься к моим заблуждениям, – заговорил он опять, возвышая голос.

– Николай Дмитри, Николай Дмитрич, – прошептала опять Марья Николаевна, приближаясь к нему.

– Ну, хорошо, хорошо!.. Да что ж ужин? А, вот и он, – проговорил он, увидав лакея с подносом. – Сюда, сюда ставь, – проговорил он сердито и тотчас же взял водку, налил рюмку и жадно выпил. – Выпей, хочешь? – обратился он к брату, тотчас же повеселев. – Ну, будет о Сергее Ивановиче. Я все-таки рад тебя видеть. Что там ни толкуй, а все не чужие. Ну, выпей же. Расскажи, что ты делаешь? – продолжал он, жадно пережевывая кусок хлеба и наливая другую рюмку. – Как ты живешь?

– Живу один в деревне, как жил прежде, занимаюсь хозяйством, – отвечал Константин, с ужасом вглядываясь в жадность, с которою брат его пил и ел, и стараясь скрыть свое внимание.

– Отчего ты не женишься?

– Не пришлось, – покраснев, отвечал Константин.

– Отчего? Мне – кончено! Я свою жизнь испортил. Это я сказал и скажу, что, если бы мне дали тогда мою часть, когда мне она нужна была, вся жизнь моя была бы другая.

Константин Дмитрич поспешил отвести разговор.

– А ты знаешь, что твой Ванюшка у меня в Покровском конторщиком? – сказал он.

Николай дернул шеей и задумался.

– Да расскажи мне, что делается в Покровском? Что, дом все стоит, и березы, и наша классная? А Филипп-садовник, неужели жив? Как я помню беседку и диван! Да смотри же, ничего не переменяй в доме, но скорее женись и опять заведи то же, что было. Я тогда приеду к тебе, если твоя жена будет хорошая.

– Да приезжай теперь ко мне, – сказал Левин. – Как бы мы хорошо устроились!

– Я бы приехал к тебе, если бы знал, что не найду Сергея Ивановича.

– Ты его не найдешь. Я живу совершенно независимо от него.

– Да, но, как ни говори, ты должен выбрать между мною и им, – сказал он, робко глядя в глаза брату. Эта робость тронула Константина.

– Если хочешь знать всю мою исповедь в этом отношении, я скажу тебе, что в вашей ссоре с Сергеем Ивановичем я не беру ни той, ни другой стороны. Вы оба неправы. Ты неправ более внешним образом, а он более внутренно.

– А, а! Ты понял это, ты понял это? – радостно закричал Николай.

– Но я, лично, если ты хочешь знать, больше дорожу дружбой с тобой, потому что...

– Почему, почему?

Константин не мог сказать, что он дорожит потому, что Николай несчастен и ему нужна дружба. Но Николай понял, что он хотел сказать именно это, и, нахмурившись, взялся опять за водку.

– Будет, Николай Дмитрич! – сказала Марья Николаевна, протягивая пухлую обнаженную руку к графинчику.

– Пусти! Не приставай! Прибью! – крикнул он.

Марья Николаевна улыбнулась кроткою и доброю улыбкой, которая сообщилась и Николаю, и приняла водку.

– Да ты думаешь, она ничего не понимает? – сказал Николай. – Она все это понимает лучше всех нас. Правда, что есть в ней что-то хорошее, милое?

– Вы никогда прежде не были в Москве? – сказал ей Константин, чтобы сказать что-нибудь.

– Да не говори ей вы. Она этого боится. Ей никто, кроме мирового судьи, когда ее судили за то, что она хотела уйти из дома разврата, никто не говорил вы. Боже мой, что это за бессмыслица на свете! – вдруг вскрикнул он. – Эти новые учреждения, эти мировые судьи, земство, что это за безобразие!

И он начал рассказывать свои столкновения с новыми учреждениями.

Константин Левин слушал его, и то отрицание смысла во всех общественных учреждениях, которое он разделял с ним и часто высказывал, было ему неприятно теперь из уст брата.

– На том свете пойдем все это, – сказал он шутя.

– На том свете? Ох, не люблю я тот свет! Не люблю, – сказал он, остановив испуганные дикие глаза на лице брата. – И ведь вот кажется, что уйти из всей мерзости, путаницы, и чужой и своей, хорошо бы было, а я боюсь смерти, ужасно боюсь смерти. – Он содрогнулся. – Да выпей что-нибудь. Хочешь шампанского? Или поедем куда-нибудь. Поедем к цыганам! Знаешь, я очень полюбил цыган и русские песни.

Язык его стал мешаться, и он пошел перескакивать с одного предмета на другой. Константин с помощью Маши уговорил его никуда не ездить и уложил спать совершенно пьяного.

Маша обещала писать Константину в случае нужды и уговаривать Николая Левина приехать жить к брату.

XXVI

Утром Константин Левин выехал из Москвы и к вечеру приехал домой. Дорогой, в вагоне, он разговаривал с соседями о политике, о новых железных дорогах, и, так же как в Москве, его одолевала путаница понятий, недовольство собой, стыд пред чем-то; но когда он вышел на своей станции, узнал кривого кучера Игната с поднятым воротником кафтана, когда увидел в неярком свете, падающем из окон станции, свои ковровые сани, своих лошадей с подвязанными хвостами, в сбруе с кольцами и махрами, когда кучер Игнат, еще в то время как укладывались, рассказал ему деревенские новости, о приходе рядчика и о том, что отелилась Пава, – он почувствовал, что понемногу путаница разясняется и стыд и недовольство собой проходят. Это он почувствовал при одном виде Игната и лошадей; но когда он надел привезенный ему тулуп, сел, закутавшись, в сани и поехал, раздумывая о предстоящих распоряжениях в деревне и поглядывая на пристяжную, бывшую верховую, донскую, надорванную, но лихую лошадь, он совершенно иначе стал понимать то, что с ним случилось. Он чувствовал себя собой и другим не хотел быть. Он хотел теперь быть только лучше, чем он был прежде. Во-первых, с этого дня он решил, что не будет больше надеяться на необыкновенное счастье, какое ему должна была дать женитьба, и вследствие этого не будет так пренебрегать настоящим. Во-вторых, он уже никогда не позволит себе увлечься гадкою страстью, воспоминание о которой так мучало его, когда он собирался сделать предложение. Потом, вспоминая брата Николая, он решил сам с собою, что никогда уже он не позволит себе забыть его, будет следить за ним и не выпустит его из виду, чтобы быть готовым на помощь, когда ему придется плохо. А это будет скоро, он это чувствовал. Потом и разговор брата о коммунизме, к которому тогда он так легко отнесся, теперь заставил его задуматься. Он считал переделку экономических условий вздором, но он всегда чувствовал несправедливость своего избытка в сравнении с бедностью народа и теперь решил про себя, что, для того чтобы чувствовать себя вполне правым, он, хотя прежде много работал и не роскошно жил, теперь будет еще больше работать и еще меньше будет позволять себе роскоши. И все это казалось ему так легко сделать над собой, что всю дорогу он провел в самых приятных мечтаниях. С бодрым чувством надежды на новую, лучшую жизнь он в девятом часу ночи подъехал к своему дому.

Из окон комнаты Агафьи Михайловны, старой нянюшки, исполнявшей в его доме роль экономки, падал свет на снег площадки пред домом. Она не спала еще. Кузьма, разбуженный ею, сонный и босиком выбежал на крыльцо. Легава сука Ласка, чуть не сбив с ног Кузьму, выскочила тоже и визжала, терлась об его колени, поднималась и хотела и не смела положить передние лапы ему на грудь.

– Скоро ж, батюшка, вернулись, – сказала Агафья Михайловна.

– Соскучился, Агафья Михайловна. В гостях хорошо, а дома лучше, – отвечал он ей и прошел в кабинет.

Кабинет медленно осветился внесенной свечой. Выступили знакомые подробности: оленьи рога, полки с книгами, зеркало печи с отдушником, который давно надо было починить, отцовский диван, большой стол, на столе открытая книга, сломанная пепельница, тетрадь с его почерком. Когда он увидел все это, на него нашло на минуту сомнение в возможности устроить ту новую жизнь, о которой он мечтал дорогой. Все эти следы его жизни как будто охватили его и говорили ему: «Нет, ты не уйдешь от нас и не будешь другим, а будешь такой же, каков был: с сомнениями, вечным недовольством собой, напрасными попытками исправления и падениями и вечным ожиданием счастья, которое не далось и невозможно тебе».

Но это говорили его вещи, другой же голос в душе говорил, что не надо подчиняться прошедшему и что с собой сделать все возможно. И, слушаясь этого голоса, он подошел к углу,

где у него стояли две пудовые гири, и стал гимнастически поднимать их, стараясь привести себя в состояние бодрости. За дверью заскрипели шаги. Он поспешно поставил гири.

Вошел приказчик и сказал, что все, слава богу, благополучно, но сообщил, что греча в новой сушилке подгорела. Известие это раздражило Левина. Новая сушилка была выстроена и частью придумана Левиным. Приказчик был всегда против этой сушилки и теперь со скрытым торжеством объявлял, что греча подгорела. Левин же был твердо убежден, что если она подгорела, то потому только, что не были приняты те меры, о которых он сотни раз приказывал. Ему стало досадно, и он сделал выговор приказчику. Но было одно важное и радостное событие: отелилась Пава, лучшая, дорогая, купленная с выставки корова.

– Кузьма, дай тулуп. А вы велите-ка взять фонарь, я пойду взгляну, – сказал он приказчику.

Скотная для дорогих коров была сейчас за домом. Пройдя через двор мимо сугроба у сирени, он подошел к скотной. Пахнуло навозным теплым паром, когда отворилась примерзшая дверь, и коровы, удивленные непривычным светом фонаря, зашевелились на свежей соломе. Мелькнула гладкая черно-пегая широкая спина голландки. Беркут, бык, лежал с своим кольцом в губе и хотел было встать, но раздумал и только пыхнул раза два, когда проходили мимо. Красная красавица, громадная, как гиппопотам, Пава, повернувшись задом, заслоняла от входивших теленка и обнюхивала его.

Левин вошел в денник, оглядел Паву и поднял красно-пегого теленка на его шаткие длинные ноги. Взмолнованная Пава замычала было, но успокоилась, когда Левин подвинул к ней телку, и, тяжело вздохнув, стала лизать ее шершавым языком. Телка, отыскивая, подталкивала носом под пах свою мать и крутила хвостиком.

– Да сюда посвети, Федор, сюда фонарь, – говорил Левин, оглядывая телку. – В мать! Даром что мастью в отца. Очень хороша. Длинна и пашиста. Василий Федорович, ведь хороша? – обращался он к приказчику, совершенно примирившись с ним за гречу под влиянием радости за телку.

– В кого же дурной быть? А Семен рядчик на другой день вашего отъезда пришел. Надо будет порядиться с ним, Константин Дмитрич, – сказал приказчик. – Я вам прежде докладывал про машину.

Один этот вопрос ввел Левина во все подробности хозяйства, которое было большое и сложное, и он прямо из коровника пошел в контору и, поговорив с приказчиком и с Семеном рядчиком, вернулся домой и прямо прошел наверх в гостиную.

XXVII

Дом был большой, старинный, и Левин хотя жил один, но топил и занимал весь дом. Он знал, что это было глупо, знал, что это даже нехорошо и противно его теперешним новым планам, но дом этот был целый мир для Левина. Это был мир, в котором жили и умерли его отец и мать. Они жили тою жизнью, которая для Левина казалась идеалом всякого совершенства и которую он мечтал возобновить с своею женой, с своею семьей.

Левин едва помнил свою мать. Понятие о ней было для него священным воспоминанием, и будущая жена его должна была быть в его воображении повторением того прелестного, святого идеала женщины, каким была для него мать.

Любовь к женщине он не только не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел; для Левина это было главным делом жизни, от которого зависело все ее счастье. И теперь от этого нужно было отказаться!

Когда он вошел в маленькую гостиную, где всегда пил чай, и уселся в своем кресле с книгою, а Агафья Михайловна принесла ему чаю и со своим обычным: «А я сяду, батюшка», — села на стул у окна, он почувствовал, что, как ни странно это было, он не расстался с своими мечтами и что он без них жить не может. С ней ли, с другою ли, но это будет. Он читал книгу, думал о том, что читал, останавливаясь, чтобы слушать Агафью Михайловну, которая без устали болтала; и вместе с тем разные картины хозяйства и будущей семейной жизни без связи представлялись его воображению. Он чувствовал, что в глубине его души что-то устанавливалось, умерялось и укладывалось.

Он слушал разговор Агафьи Михайловны о том, как Прохор Бога забыл и на те деньги, что ему подарил Левин, чтобы лошадь купить, пьет без просыпу и жену избил до смерти; он слушал и читал книгу и вспоминал весь ход своих мыслей, возбужденных чтением. Это была книга Тиндаля о теплоте. Он вспоминал свои осуждения Тиндаля за его самодовольство в ловкости производства опытов и за то, что ему недостает философского взгляда. И вдруг всплыла радостная мысль: «Через два года будут у меня в стаде две голландки, сама Пава еще может быть жива, двенадцать молодых Беркутовых дочерей, да подсыпать к ним на казовый конец этих трех — чудо!» Он опять взялся за книгу.

«Ну хорошо, электричество и теплота одно и то же; но возможно ли в уравнении для решения вопроса поставить одну величину вместо другой? Нет. Ну так что же? Связь между всеми силами природы и так чувствуется инстинктом... Особенно приятно, как Павина дочь будет уже красно-пегою коровой, и все стадо, в которое подсыпать этих трех... Отлично! Выйти с женой и гостями встречать стадо... Жена скажет: мы с Костей, как ребенка, выхаживали эту телку. Как это может вас так интересовать? — скажет гость. Все, что его интересует, интересует меня. Но кто она?» И он вспоминал то, что произошло в Москве... «Ну что же делать?... Я не виноват. Но теперь все пойдет по-новому. Это вздор, что не допустит жизнь, что прошедшее не допустит. Надо биться, чтобы лучше, гораздо лучше жить...» Он приподнял голову и задумался. Старая Ласка, еще не совсем переварившая радость его приезда и бегавшая, чтобы полаять на дворе, вернулась, махая хвостом и внося с собой запах воздуха, подошла к нему, подсунула голову под его руку, жалобно подвизгивая и требуя, чтоб он поласкал.

— Только не говорит, — сказала Агафья Михайловна. — А пес... Ведь понимает же, что хозяин приехал и ему скучно.

— Отчего же скучно?

— Да разве я не вижу, батюшка? Пора мне господ знать. Сызмальства в господах выросла. Ничего, батюшка. Было бы здоровье да совесть чиста.

Левин пристально смотрел на нее, удивляясь тому, как она поняла его мысли.

– Что ж, принести еще чайку? – сказала она и, взяв чашку, вышла.

Ласка все подсовывала голову под его руку. Он погладил ее, и она тут же у ног его свернулась кольцом, положив голову на высунувшуюся заднюю лапу. И в знак того, что теперь все хорошо и благополучно, она, слегка раскрыв рот, почмокала, лучше уложив около старых зуб липкие губы, затихла в блаженном спокойствии. Левин внимательно следил за этими последними ее движениями.

«Так-то и я! – сказал он себе, – так-то и я! Ничего... Все хорошо».

XXVIII

После бала, рано утром, Анна Аркадьевна послала мужу телеграмму о своем выезде из Москвы в тот же день.

– Нет, мне надо, надо ехать, – объясняла она невестке перемену своего намерения таким тоном, как будто она вспомнила столько дел, что не перечесть, – нет, уж лучше нынче!

Степан Аркадьич не обедал дома, но обещал приехать проводить сестру в семь часов.

Кити тоже не приехала, прислав записку, что у нее голова болит. Долли с Анной обедали одни с детьми и англичанкой. Потому ли, что дети непостоянны или очень чутки и почувствовали, что Анна в этот день совсем не такая, как в тот, когда они так полюбили ее, что она уже не занята ими, – но только они вдруг прекратили свою игру с тетей и любовь к ней, и их совершенно не занимало то, что она уезжает. Анна все утро была занята приготовлениями к отъезду. Она писала записки к московским знакомым, записывала свои счета и укладывалась. Вообще Долли казалось, что она не в спокойном духе, а в том духе заботы, который Долли хорошо знала за собой и который находит не без причины и большею частью прикрывает недовольство собою. После обеда Анна пошла одеваться в свою комнату, и Долли пошла за ней.

– Какая ты нынче странная! – сказала ей Долли.

– Я? ты находишь? Я не странная, но я дурная. Это бывает со мной. Мне все хочется плакать. Это очень глупо, но это проходит, – сказала быстро Анна и нагнула покрасневшее лицо к игрушечному мешочку, в который она укладывала ночной чепчик и батистовые платки. Глаза ее особенно блестя и беспрестанно подергивались слезами. – Так мне из Петербурга не хотелось уезжать, а теперь отсюда не хочется.

– Ты приехала сюда и сделала доброе дело, – сказала Долли, внимательно высматривая ее. Анна посмотрела на нее мокрыми от слез глазами.

– Не говори этого, Долли. Я ничего не сделала и не могла сделать. Я часто удивляюсь, зачем люди стоворились портить меня. Что я сделала и что могла сделать? У тебя в сердце нашлось столько любви, чтобы простить...

– Без тебя бог знает что бы было! Какая ты счастливая, Анна! – сказала Долли. – У тебя все в душе ясно и хорошо.

– У каждого есть в душе свои skeletons¹⁶, как говорят англичане.

– Какие же у тебя skeletons? У тебя все так ясно.

– Есть! – вдруг сказала Анна, и неожиданно после слез хитрая, смешливая улыбка сморщила ее губы.

– Ну, так они смешные, твои skeletons, а не мрачные, – улыбаясь, сказала Долли.

– Нет, мрачные. Ты знаешь, отчего я еду нынче, а не завтра? Это признание, которое меня давило, я хочу тебе его сделать, – сказала Анна, решительно откидываясь на кресле и глядя прямо в глаза Долли.

И, к удивлению своему, Долли увидала, что Анна покраснела до ушей, до выющихся черных колец волос на шее.

– Да, – продолжала Анна. – Ты знаешь, отчего Кити не приехала обедать? Она ревнует ко мне. Я испортила... я была причиной того, что бал этот был для нее мученьем, а не радостью. Но, право, право, я не виновата, или виновата немножко, – сказала она, тонким голосом протянув слово «немножко».

– О, как ты это похоже сказала на Стиву! – смеясь, сказала Долли.

Анна оскорбилась.

¹⁶ Здесь: тайны (англ.).

– О нет, о нет! Я не Стива, – сказала она, хмурясь. – Я оттого говорю тебе, что я ни на минуту даже не позволяю себе сомневаться в себе, – сказала Анна.

Но в ту минуту, когда она выговаривала эти слова, она чувствовала, что они несправедливы; она не только сомневалась в себе, она чувствовала волнение при мысли о Вронском и уезжала скорее, чем хотела, только для того, чтобы больше не встречаться с ним.

– Да, Стива мне говорил, что ты с ним танцевала мазурку и что он...

– Ты не можешь себе представить, как это смешно вышло. Я только думала сватать, и вдруг совсем другое. Может быть, я против воли...

Она покраснела и остановилась.

– О, они это сейчас чувствуют! – сказала Долли.

– Но я бы была в отчаянии, если бы тут было что-нибудь серьезное с его стороны, – перебила ее Анна. – И я уверена, что это все забудется и Кити перестанет меня ненавидеть.

– Впрочем, Анна, по правде тебе сказать, я не очень желаю для Кити этого брака. И лучше, чтоб это разошлось, если он, Вронский, мог влюбиться в тебя в один день.

– Ах, боже мой, это было бы так глупо! – сказала Анна, и опять густая краска удовольствия выступила на ее лице, когда она услышала занимавшую ее мысль, выговоренную словами. – Так вот, я и уезжаю, сделав себе врага в Кити, которую я так полюбила. Ах, какая она милая! Но ты поправишь это, Долли? Да?

Долли едва могла удерживать улыбку. Она любила Анну, но ей приятно было видеть, что и у ней есть слабости.

– Врага? Это не может быть.

– Я так бы желала, чтобы вы меня любили, как я вас люблю; а теперь я еще больше полюбила вас, – сказала Анна со слезами на глазах. – Ах, как я нынче глупа!

Она провела платком по лицу и стала одеваться.

Уже пред самым отъездом приехал опоздавший Степан Аркадьич, с красным, веселым лицом и запахом вина и сигары.

Чувствительность Анны сообщилась и Долли, и, когда она в последний раз обняла золовку, она прошептала:

– Помни, Анна: что ты для меня сделала, я никогда не забуду. И помни, что я люблю и всегда буду любить тебя, как лучшего друга!

– Я не понимаю, за что, – проговорила Анна, целуя ее и скрывая слезы.

– Ты меня поняла и понимаешь. Прощай, моя прелесть!

XXIX

«Ну, все кончено, и слава богу!» – была первая мысль, пришедшая Анне Аркадьевне, когда она простилась в последний раз с братом, который до третьего звонка загоразивал собою дорогу в вагоне. Она села на свой диванчик, рядом с Аннушкой, и огляделась в полусвете спального вагона. «Слава богу, завтра увижу Сережу и Алексея Александровича, и пойдет моя жизнь, хорошая и привычная, по-старому».

Все в том же духе озабоченности, в котором она находилась весь этот день, Анна с удовольствием и отчетливостью устроилась в дорогу; своими маленькими ловкими руками она отперла и заперла красный мешочек, достала подушечку, положила себе на колени и, аккуратно закутав ноги, спокойно уселась. Больная дама укладывалась уже спать. Две другие дамы заговаривали с ней, и толстая старуха укутывала ноги и выражала замечания о топке. Анна ответила несколько слов дамам, но, не предвидя интереса от разговора, попросила Аннушку достать фонарик, прицепила его к ручке кресла и взяла из своей сумочки разрезной ножик и английский роман. Первое время ей не читалось. Сначала мешала возня и ходьба; потом, когда тронулся поезд, нельзя было не прислушаться к звукам; потом снег, бивший в левое окно и налипавший на стекло, и вид закутанного, мимо прошедшего кондуктора, занесенного снегом с одной стороны, и разговоры о том, какая теперь страшная метель на дворе, развлекали ее внимание. Далее все было то же и то же: та же тряска с постукиванием, тот же снег в окно, те же быстрые переходы от парового жара к холоду и опять к жару, то же мелькание тех же лиц в полумраке и те же голоса, и Анна стала читать и понимать читаемое. Аннушка уже дремала, держа красный мешочек на коленях широкими руками в перчатках, из которых одна была прорвана. Анна Аркадьевна читала и понимала, но ей неприятно было читать, то есть следить за отражением жизни других людей. Ей слишком самой хотелось жить. Читала ли она, как героиня романа ухаживала за больным, ей хотелось ходить неслышными шагами по комнате больного; читала ли она о том, как член парламента говорил речь, ей хотелось говорить эту речь; читала ли она о том, как леди Мери ехала верхом за стаей и дразнила невестку и удивляла всех своею смелостью, ей хотелось это делать самой. Но делать нечего было, и она, перебирая своими маленькими руками гладкий ножичек, усиливалась читать.

Герой романа уже начинал достигать своего английского счастья, баронетства и имения, и Анна желала с ним вместе ехать в это имение, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно и что ей стыдно этого самого. Но чего же ему стыдно? «Чего же мне стыдно?» – спросила она себя с оскорбленным удивлением. Она оставила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в обеих руках разрезной ножик. Стыдного ничего не было. Она перебрала все свои московские воспоминания. Все были хорошие, приятные. Вспомнила бал, вспомнила Вронского и его влюбленное покорное лицо, вспомнила все свои отношения с ним; – ничего не было стыдного. А вместе с тем на этом самом месте воспоминаний чувство стыда усиливалось, как будто какой-то внутренний голос именно тут, когда она вспомнила о Вронском, говорил ей: «Тепло, очень тепло, горячо». «Ну что же? – сказала она себе решительно, пересаживаясь в кресле. – Что же это значит? Разве я боюсь взглянуть прямо на это? Ну что же? Неужели между мной и этим офицером-мальчиком существуют и могут существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, что бывают с каждым знакомым?» Она презрительно усмехнулась и опять взялась за книгу, но уже решительно не могла понимать того, что читала. Она провела разрезным ножом по стеклу, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке и чуть вслух не засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что в груди что-то давит дыхание и что все образы и звуки

в этом колеблющемся полумраке с необычайной яркостью поражают ее. На нее беспрестанно находили минуты сомнения, вперед ли едет вагон, или назад, или вовсе стоит. Аннушка ли подле нее или чужая? «Что там, на ручке, шуба ли это или зверь? И что сама я тут? Я сама или другая?» Ей страшно было отдаваться этому забытию. Но что-то втягивало в него, и она по произволу могла отдаваться ему и воздерживаться. Она поднялась, чтоб опомниться, откинула плед и сняла пелерину теплого платья. На минуту она опомнилась и поняла, что вошедший худой мужик в длинном нанковом пальто, на котором недоставало пуговицы, был истопник, что он смотрел на термометр, что ветер и снег ворвались за ним в дверь; но потом опять все смешалось... Мужик этот с длинною талией принялся грызть что-то в стене, старушка стала протягивать ноги во всю длину вагона и наполнила его черным облаком; потом что-то страшно заскрипело и застучало, как будто раздирали кого-то; потом красный огонь ослепил глаза, и потом все закрылось стеной. Анна почувствовала, что она провалилась. Но все это было не страшно, а весело. Голос окутанного и занесенного снегом человека прокричал что-то ей над ухом. Она поднялась и опомнилась; она поняла, что подъехали к станции и что это был кондуктор. Она попросила Аннушку подать ей опять снятую пелерину и платок, надела их и направилась к двери.

– Выходить изволите? – спросила Аннушка.

– Да, мне подышать хочется. Тут очень жарко.

И она отворила дверь. Метель и ветер рванулись ей навстречу и заспорили с ней о двери. И это ей показалось весело. Она отворила дверь и вышла. Ветер как будто только ждал ее, радостно засвистал и хотел подхватить и унести ее, но она сильной рукой взялась за холодный столбик и, придерживая платье, спустилась на платформу и зашла за вагон. Ветер был силен на крылечке, на платформе за вагонами было затишье. С наслаждением, полною грудью, она вдыхала в себя снежный, морозный воздух и, стоя подле вагона, оглядывала платформу и освещенную станцию.

XXX

Страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов по столбам из-за угла станции. Вагоны, столбы, люди, все, что было видно, – было занесено с одной стороны снегом и заносилось все больше и больше. На мгновение буря затихала, но потом опять налетала такими порывами, что, казалось, нельзя было противостоять ей. Между тем какие-то люди бегали, весело переговариваясь, скрипя по доскам платформы и беспрестанно отворяя и затворяя большие двери. Согнутая тень человека проскользнула под ее ногами, и послышались стуки молотка по железу. «Депешу дай!» – раздался сердитый голос с другой стороны из бурного мрака. «Сюда пожалуйста! № 28!» – кричали еще разные голоса, и, занесенные снегом, пробежали обвязанные люди. Какие-то два господина с огнем папирос во рту прошли мимо ее. Она вздохнула еще раз, чтобы надышаться, и уже вынула руку из муфты, чтобы взяться за столбик и войти в вагон, как еще человек в военном пальто подле нее самой заслонил ей колеблющийся свет фонаря. Она оглянулась и в ту же минуту узнала лицо Вронского. Приложив руку к козырьку, он наклонился пред ней и спросил, не нужно ли ей чего-нибудь, не может ли он служить ей? Она довольно долго, ничего не отвечая, вглядывалась в него и, несмотря на тень, в которой он стоял, видела, или ей казалось, что видела, и выражение его лица и глаз. Это было опять то выражение почтительного восхищения, которое так подействовало на нее вчера. Не раз говорила она себе эти последние дни и сейчас только, что Вронский для нее один из сотен вечно одних и тех же, повсюду встречаемых молодых людей, что она никогда не позволит себе и думать о нем; но теперь, в первое мгновение встречи с ним, ее охватило чувство радостной гордости. Ей не нужно было спрашивать, зачем он тут. Она знала это так же верно, как если бы он сказал ей, что он тут для того, чтобы быть там, где она.

– Я не знала, что вы едете. Зачем вы едете? – сказала она, опустив руку, которою взялась было за столбик. И неудержимая радость и оживление сияли на ее лице.

– Зачем я еду? – повторил он, глядя ей прямо в глаза. – Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы, – сказал он, – я не могу иначе.

И в это же время, как бы одолев препятствия, ветер засыпал снег с крыши вагона, затрепал каким-то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза. Весь ужас метели показался ей еще более прекрасен теперь. Он сказал то самое, чего желала ее душа, но чего она боялась рассудком. Она ничего не отвечала, и на лице ее он видел борьбу.

– Простите меня, если вам неприятно то, что я сказал, – заговорил он покорно.

Он говорил учтиво, почтительно, но так твердо и упорно, что она долго не могла ничего ответить.

– Это дурно, что вы говорите, и я прошу вас, если вы хороший человек, забудьте, что вы сказали, как и я забуду, – сказала она наконец.

– Ни одного слова вашего, ни одного движения вашего я не забуду никогда и не могу...

– Довольно, довольно! – вскрикнула она, тщетно стараясь придать строгое выражение своему лицу, в которое он жадно всматривался. И, взявшись рукой за холодный столбик, она поднялась на ступеньки и быстро вошла в сени вагона. Но в этих маленьких сенях она остановилась, обдумывая в своем воображении то, что было. Не вспоминая ни своих, ни его слов, она чувством поняла, что этот минутный разговор страшно сблизил их; и она была испугана и счастлива этим. Постояв несколько секунд, она вошла в вагон и села на свое место. То волшебное напряженное состояние, которое ее мучало сначала, не только возобновилось, но усилилось и дошло до того, что она боялась, что всякую минуту порвется в ней что-то слишком натянутое. Она не спала всю ночь. Но в том напряжении и тех грезх, которые наполняли ее воображение, не было ничего неприятного и мрачного; напротив, было что-то радостное, жгу-

чее и возбуждающее. К утру Анна задремала, сидя в кресле, и когда проснулась, то уже было бело, светло и поезд подходил к Петербургу. Тотчас же мысли о доме, о муже, о сыне и заботы предстоящего дня и следующих обступили ее.

В Петербурге, только что остановился поезд и она вышла, первое лицо, обратившее ее внимание, было лицо мужа. «Ах, боже мой! отчего у него стали такие уши?» – подумала она, глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы. Увидав ее, он пошел к ней навстречу, сложив губы в привычную ему насмешливую улыбку и прямо глядя на нее большими усталыми глазами. Какое-то неприятное чувство щемило ей сердце, когда она встретила его упорный и усталый взгляд, как будто она ожидала увидеть его другим. В особенности поразило ее чувство недовольства собой, которое она испытала при встрече с ним. Чувство то было давнишнее, знакомое чувство, похожее на состояние притворства, которое она испытывала в отношениях к мужу; но прежде она не замечала этого чувства, теперь она ясно и больно сознала его.

– Да, как видишь, нежный муж, нежный, как на другой год женитьбы, сторал желанием увидеть тебя, – сказал он своим медлительным тонким голосом и тем тоном, который он всегда почти употреблял с ней, тоном насмешки над тем, кто бы в самом деле так говорил.

– Сережа здоров? – спросила она.

– И это вся награда, – сказал он, – за мою пылкость? Здоров, здоров...

XXXI

Вронский и не пытался заснуть всю эту ночь. Он сидел на своем кресле, то прямо устремив глаза вперед себя, то оглядывая входивших и выходивших, и если и прежде он поражал и волновал незнакомых ему людей своим видом непоколебимого спокойствия, то теперь он еще более казался горд и самодовлеющ. Он смотрел на людей, как на вещи. Молодой нервный человек, служащий в окружном суде, сидевший против него, возненавидел его за этот вид. Молодой человек и закуривал у него, и заговаривал с ним, и даже толкал его, чтобы дать ему почувствовать, что он не вещь, а человек, но Вронский смотрел на него все так же, как на фонарь, и молодой человек гримасничал, чувствуя, что он теряет самообладание под давлением этого непризнания его человеком, и не мог от этого заснуть.

Вронский ничего и никого не видал. Он чувствовал себя царем не потому, чтоб он верил, что произвел впечатление на Анну, он еще не верил этому, – но потому, что впечатление, которое она произвела на него, давало ему счастье и гордость.

Что из этого всего выйдет, он не знал и даже не думал. Он чувствовал, что все его доселе распушенные, разбросанные силы были собраны в одно и с страшною энергией были направлены к одной блаженной цели. И он был счастлив этим. Он знал только, что сказал ей правду, что он ехал туда, где была она, что все счастье жизни, единственный смысл жизни он находил теперь в том, чтобы видеть и слышать ее. И когда он вышел из вагона в Болотове, чтобы выпить сельтерской воды, и увидел Анну, невольно первое слово его сказало ей то самое, что он думал. И он рад был, что сказал ей это, что она знает теперь это и думает об этом. Он не спал всю ночь. Вернувшись в свой вагон, он не переставая перебирал все положения, в которых ее видел, все ее слова, и в его воображении, заставляя замирать сердце, носились картины возможного будущего.

Когда в Петербурге он вышел из вагона, он чувствовал себя после бессонной ночи оживленным и свежим, как после холодной ванны. Он остановился у своего вагона, ожидая ее выхода. «Еще раз увижу, – говорил он себе, невольно улыбаясь, – увижу ее походку, ее лицо; скажет что-нибудь, поворотит голову, взглянет, улыбнется, может быть». Но прежде еще, чем он увидел ее, он увидел ее мужа, которого начальник станции учтиво проводил между толпою. «Ах, да! муж!» Теперь только в первый раз Вронский ясно понял то, что муж было связанное с нею лицо. Он знал, что у ней есть муж, но не верил в существование его и поверил в него вполне, только когда увидел его, с его головой, плечами и ногами в черных панталонах; в особенности когда он увидел, как этот муж с чувством собственности спокойно взял ее руку.

Увидев Алексея Александровича с его петербургски-свежим лицом и строго самоуверенною фигурой, в круглой шляпе, с немного выдающеюся спиной, он поверил в него и испытал неприятное чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, мучимый жаждою и добравшийся до источника и находящий в этом источнике собаку, овцу или свинью, которая и выпила и взмутила воду. Походка Алексея Александровича, ворочавшая всем тазом и тупыми ногами, особенно оскорбляла Вронского. Он только за собой считал несомненное право любить ее. Но она была все та же; и вид ее все так же, физически оживляя, возбуждая и наполняя счастьем его душу, подействовал на него. Он приказал подбежавшему к нему из второго класса немцу-лакею взять вещи и ехать, а сам подошел к ней. Он видел первую встречу мужа с женою и заметил с проникательностью влюбленного признак легкого стеснения, с которым она говорила с мужем. «Нет, она не любит и не может любить его», – решил он сам с собою.

Еще в то время, как он подходил к Анне Аркадьевне сзади, он заметил с радостью, что она чувствовала его приближение и оглянулась было и, узнав его, опять обратилась к мужу.

– Хорошо ли вы провели ночь? – сказал он, наклоняясь пред нею и пред мужем вместе и предоставляя Алексею Александровичу принять этот поклон на свой счет, и узнать его или не узнать, как ему будет угодно.

– Благодарю вас, очень хорошо, – отвечала она.

Лицо ее, казалось, устало, и не было на нем той игры просившегося то в улыбку, то в глаза оживления; но на одно мгновение при взгляде на него что-то мелькнуло в ее глазах, и, несмотря на то, что огонь этот сейчас же потух, он был счастлив этим мгновением. Она взглянула на мужа, чтоб узнать, знает ли он Вронского. Алексей Александрович смотрел на Вронского с неудовольствием, рассеянно вспоминая, кто это. Спокойствие и самоуверенность Вронского здесь, как коса на камень, наткнулись на холодную самоуверенность Алексея Александровича.

– Граф Вронский, – сказала Анна.

– А! Мы знакомы, кажется, – равнодушно сказал Алексей Александрович, подавая руку. – Туда ехала с матерью, а назад с сыном, – сказал он, отчетливо выговаривая, как рублем даря каждым словом, – Вы, верно, из отпуска? – сказал он и, не дожидаясь ответа, обратился к жене своим шуточным тоном: – Что ж, много слез было пролито в Москве при разлуке?

Обращением этим к жене он давал чувствовать Вронскому, что желает остаться один, и, повернувшись к нему, коснулся шляпы; но Вронский обратился к Анне Аркадьевне.

– Надеюсь иметь честь быть у вас, – сказал он.

Алексей Александрович усталыми глазами взглянул на Вронского.

– Очень рад, – сказал он холодно, – по понедельникам мы принимаем. – Затем, отпустив совсем Вронского, он сказал жене: – И как хорошо, что у меня именно было полчаса времени, чтобы встретить тебя, и что я мог показать тебе свою нежность, – продолжал он тем же шуточным тоном.

– Ты слишком уже подчеркиваешь свою нежность, чтоб я очень ценила, – сказала она тем же шуточным тоном, невольно прислушиваясь к звукам шагов Вронского, шедшего за ними. «Но что мне за дело?» – подумала она и стала спрашивать у мужа, как без нее проводил время Сережа.

– О, прекрасно! Mariette говорит, что он был мил очень и... я должен тебя огорчить... не скучал о тебе, не так, как твой муж. Но еще раз merci, мой друг, что подарила мне день. Наш милый самовар будет в восторге. (Самоваром он называл знаменитую графиню Лидию Ивановну за то, что она всегда и обо всем волновалась и горячилась.) Она о тебе спрашивала. И знаешь, если я смею советовать, ты бы съездила к ней нынче. Ведь у ней обо всем болит сердце. Теперь она, кроме всех своих хлопот, занята примирением Облонских.

Графиня Лидия Ивановна была друг ее мужа и центр одного из тех кружков петербургского света, с которым по мужу ближе всех была связана Анна.

– Да ведь я писала ей.

– Но ей все нужно подробно. Съезди, если не устава, мой друг. Ну, тебе карету подаст Кондратий, а я еду в комитет. Опять буду обедать не один, – продолжал Алексей Александрович уже не шуточным тоном. – Ты не поверишь, как я привык...

И он, долго сжимая ей руку, с особенною улыбкой посадил ее в карету.

XXXII

Первое лицо, встретившее Анну дома, был сын. Он выскочил к ней по лестнице, несмотря на крик гувернантки, и с отчаянным восторгом кричал: «Мама, мама!» Добежав до нее, он повис ей на шее.

– Я говорил вам, что мама! – кричал он гувернантке. – Я знал!

И сын, так же как и муж, произвел в Анне чувство, похожее на разочарование. Она вообразила его лучше, чем он был в действительности. Она была должна опуститься до действительности, чтобы наслаждаться им таким, каков он был. Но и такой, каков он был, он был прелестен с своими белокурыми кудрями, голубыми глазами и полными стройными ножками в туго натянутых чулках. Анна испытывала почти физическое наслаждение в ощущении его близости и ласки и нравственное успокоение, когда встречала его простодушный, доверчивый и любящий взгляд и слышала его наивные вопросы. Анна достала подарки, которые посылали дети Долли, и рассказала сыну, какая в Москве есть девочка Таня и как Таня эта умеет читать и учит даже других детей.

– Что же, я хуже ее? – спросил Сережа.

– Для меня лучше всех на свете.

– Я это знаю, – сказал Сережа, улыбаясь.

Еще Анна не успела выпить кофе, как доложили про графиню Лидию Ивановну. Графиня Лидия Ивановна была высокая полная женщина с нездорово-желтым цветом лица и прекрасными задумчивыми черными глазами. Анна любила ее, но нынче она как будто в первый раз увидела ее со всеми ее недостатками.

– Ну что, мой друг, снесли оливковую ветвь? – спросила графиня Лидия Ивановна, только что вошла в комнату.

– Да, все это кончилось, но все это и было не так важно, как мы думали, – отвечала Анна. – Вообще моя *belle soeur* слишком решительна.

Но графиня Лидия Ивановна, всем до нее не касавшимся интересовавшаяся, имела привычку никогда не слушать того, что ее интересовало; она перебила Анну:

– Да, много горя и зла на свете, а я так измучена нынче.

– А что? – спросила Анна, стараясь удержать улыбку.

– Я начинаю уставать от напрасного ломания копий за правду и иногда совсем развешиваюсь. Дело сестричек (это было филантропическое, религиознопатриотическое учреждение) пошло было прекрасно, но с этими господами ничего невозможно сделать, – прибавила графиня Лидия Ивановна с насмешливою покорностью судьбе. – Они ухватились за мысль, изуродовали ее и потом обсуждают так мелко и ничтожно. Два-три человека, ваш муж в том числе, понимают все значение этого дела, а другие только роняют. Вчера мне пишет Правдин...

Правдин был известный панславист за границей, и графиня Лидия Ивановна рассказала содержание его письма.

Затем графиня рассказала еще неприятности и козни против дела соединения церквей и уехала торопясь, так как ей в этот день приходилось быть еще на заседании одного общества и в Славянском комитете.

«Ведь все это было и прежде; но отчего я не замечала этого прежде? – сказала себе Анна. – Или она очень раздражена нынче? А в самом деле, смешно: ее цель добродетель, она христианка, а она все сердится, и все у нее враги, и все враги по христианству и добродетели».

После графини Лидии Ивановны приехала приятельница, жена директора, и рассказала все городские новости. В три часа и она уехала, обещаясь приехать к обеду. Алексей Александрович был в министерстве. Оставшись одна, Анна дообеденное время употребила на то,

чтобы присутствовать при обеде сына (он обедал отдельно) и чтобы привести в порядок свои вещи, прочесть и ответить на записки и письма, которые у нее скопились на столе.

Чувство беспричинного стыда, которое она испытывала дорогой, и волнение совершенно исчезли. В привычных условиях жизни она чувствовала себя опять твердою и безупречною.

Она с удивлением вспомнила свое вчерашнее состояние. «Что же было? Ничего. Вронский сказал глупость, которой легко положить конец, и я ответила так, как нужно было. Говорить об этом мужу не надо и нельзя. Говорить об этом – значит придавать важность тому, что ее не имеет». Она вспомнила, как она рассказала почти признание, которое ей сделал в Петербурге молодой подчиненный ее мужа, и как Алексей Александрович ответил, что, живя в свете, всякая женщина может подвергнуться этому, но что он доверяется вполне ее такту и никогда не позволит себе унижить ее и себя до ревности. «Стало быть, незачем говорить? Да, слава богу, и нечего говорить» – сказала она себе.

XXXIII

Алексей Александрович вернулся из министерства в четыре часа, но, как это часто бывало, не успел войти к ней. Он прошел в кабинет принимать ожидавшихся просителей и подписать некоторые бумаги, принесенные правителем дел. К обеду (всегда человека три обедали у Карениных) приехали: старая кузина Алексея Александровича, директор департамента с женой и один молодой человек, рекомендованный Алексею Александровичу на службу. Анна вышла в гостиную, чтобы занимать их. Ровно в пять часов бронзовые часы Петра I не успели добить пятого удара, как вышел Алексей Александрович в белом галстуке и во фраке с двумя звездами, так как сейчас после обеда ему надо было ехать. Каждая минута жизни Алексея Александровича была занята и распределена. И для того, чтоб успевать сделать то, что ему предстояло каждый день, он держался строжайшей аккуратности. «Без поспешности и без отдыха» – было его девизом. Он вошел, потирая лоб, в залу, раскланялся со всеми и поспешно сел, улыбаясь жене.

– Да, кончилось мое уединение. Ты не поверишь, как неловко (он ударил на слове *неловко*) обедать одному.

За обедом он поговорил с женой о московских делах, с насмешливою улыбкой спрашивал о Степане Аркадьиче; но разговор шел преимущественно общий, о петербургских служебных и общественных делах. После обеда он провел полчаса с гостями и, опять с улыбкой пожав руку жене, вышел и уехал в совет. Анна не поехала в этот раз ни к княгине Бетси Тверской, которая, узнав о ее приезде, звала ее вечером, ни в театр, где нынче была у нее ложа. Она не поехала преимущественно потому, что платье, на которое она рассчитывала, было не готово. Вообще, занявшись после отъезда гостей своим туалетом, Анна была очень раздосадована. Пред отъездом в Москву она, вообще мастерица одеваться не очень дорого, отдала модистке для переделки три платья. Платья нужно было так переделать, чтоб их нельзя было узнать, и они должны были быть готовы уже три дня тому назад. Оказалось, что два платья были совсем не готовы, а одно переделано не так, как того хотела Анна. Модистка приехала объясняться, утверждая, что так будет лучше, и Анна разгорячилась так, что ей потом совестно было вспоминать. Чтобы совершенно успокоиться, она пошла в детскую и весь вечер провела с сыном, сама уложила его спать, перекрестила и покрыла его одеялом. Она рада была, что не поехала никуда и так хорошо провела этот вечер. Ей так легко и спокойно было, так ясно она видела, что все, что ей на железной дороге представлялось столь значительным, был только один из обычных ничтожных случаев светской жизни и что ей ни пред кем, ни пред собой стыдиться нечего. Анна села у камина с английским романом и ждала мужа. Ровно в половине десятого послышался его звонок, и он вошел в комнату.

– Наконец-то ты! – сказала она, протягивая ему руку.

Он поцеловал ее руку и подсел к ней.

– Вообще я вижу, что поездка твоя удалась, – сказал он ей.

– Да, очень, – отвечала она и стала рассказывать ему все сначала: свое путешествие с Вронскою, свой приезд, случай на железной дороге. Потом рассказала свое впечатление жалости к брату сначала, потом к Долли.

– Я не полагаю, чтобы можно было извинять такого человека, хотя он и твой брат, – сказал Алексей Александрович строго.

Анна улыбнулась. Она поняла, что он сказал это именно затем, чтобы показать, что соображения родства не могут остановить его в высказывании своего искреннего мнения. Она знала эту черту в своем муже и любила ее.

– Я рад, что все кончилось благополучно и что ты приехала, – продолжал он. – Ну, что говорят там про новое положение, которое я провел в совете?

Анна ничего не слышала об этом положении, и ей стало совестно, что она так легко могла забыть о том, что для него было так важно.

– Здесь, напротив, это наделало много шума, – сказал он с самодовольною улыбкой.

Она видела, что Алексей Александрович хотел что-то сообщить ей приятное для себя об этом деле, и она вопросами навела его на рассказ. Он с тою же самодовольною улыбкой рассказал об овациях, которые были сделаны ему вследствие этого проведенного положения.

– Я очень, очень был рад. Это доказывает, что, наконец, у нас начинает устанавливаться разумный и твердый взгляд на это дело.

Допив со сливками и хлебом свой второй стакан чая, Алексей Александрович встал и пошел в свой кабинет.

– А ты куда не поехала; тебе, верно, скучно было? – сказал он.

– О нет! – отвечала она, встав за ним и провожая его чрез залу в кабинет. – Что же ты читаешь теперь? – спросила она.

– Теперь я читаю Duc de Lille, «Poésie des enfers»¹⁷, – отвечал он. – Очень замечательная книга.

Анна улыбнулась, как улыбаются слабостям любимых людей, и, положив свою руку под его, проводила его до дверей кабинета. Она знала его привычку, сделавшуюся необходимою, вечером читать. Она знала, что, несмотря на поглощавшие почти все его время служебные обязанности, он считал своим долгом следить за всем замечательным, появлявшимся в умственной сфере. Она знала тоже, что действительно его интересовали книги политические, философские, богословские, что искусство было по его натуре совершенно чуждо ему, но что, несмотря на это, или лучше вследствие этого, Алексей Александрович не пропускал ничего из того, что делало шум в этой области, и считал своим долгом все читать. Она знала, что в области политики, философии, богословия Алексей Александрович сомневался или отыскивал; но в вопросах искусства и поэзии, в особенности музыки, понимания которой он был совершенно лишен, у него были самые определенные и твердые мнения. Он любил говорить о Шекспире, Рафаэле, Бетховене, о значении новых школ поэзии и музыки, которые все были у него распределены с очень ясною последовательностью.

– Ну, и бог с тобой, – сказала она у двери кабинета, где уже были приготовлены ему абажур на свече и графин воды у кресла. – А я напишу в Москву.

Он пожал ей руку и опять поцеловал ее.

«Все-таки он хороший человек, правдивый, добрый и замечательный в своей сфере, – говорила себе Анна, вернувшись к себе, как будто защищая его пред кем-то, кто обвинял его и говорил, что его нельзя любить. – Но что это уши у него так странно выдаются! Или он обстригся?»

Ровно в двенадцать, когда Анна еще сидела за письменным столом, дописывая письмо к Долли, послышались ровные шаги в туфлях, и Алексей Александрович, вымытый, причесанный, с книгою под мышкой, подошел к ней.

– Пора, пора, – сказал он, особенно улыбаясь, и прошел в спальню.

«И какое право имел он так смотреть на него?» – подумала Анна, вспоминая взгляд Вронского на Алексея Александровича.

Раздевшись, она вошла в спальню, но на лице ее не только не было того оживления, которое в бытность ее в Москве так и брызгало из ее глаз и улыбки: напротив, теперь огонь казался потушенным в ней или где-то далеко припрятанным.

¹⁷ Герцога де Лиля, «Поэзия ада» (франц.).

XXXIV

Уезжая из Петербурга, Вронский оставил свою большую квартиру на Морской приятелю и любимому товарищу Петрицкому.

Петрицкий был молодой поручик, не особенно знатный и не только не богатый, но кругом в долгах, к вечеру всегда пьяный и часто за разные и смешные и грязные истории попадавший на гауптвахту, но любимый и товарищами и начальством. Подъезжая в двенадцатом часу с железной дороги к своей квартире, Вронский увидел у подъезда знакомую ему извозчичью карету. Из-за двери еще на свой звонок он услышал хохот мужчин и французский лепет женского голоса и крик Петрицкого; «Если кто из злодеев, то не пускать!» Вронский не велел денщику говорить о себе и потихоньку вошел в первую комнату. Баронесса Шильтон, приятельница Петрицкого, блестя лиловым атласом платья и румяным белокурым личиком и, как канарейка, наполняя всю комнату своим парижским говором, сидела пред круглым столом, варя кофе. Петрицкий в пальто и ротмистр Кемеровский в полной форме, вероятно со службы, сидели вокруг нее.

– Bravo! Вронский! – закричал Петрицкий, вскакивая и гремя стулом. – Сам хозяин! Баронесса, кофею ему из нового кофейника. Вот не ждали! Надеюсь, ты доволен украшением твоего кабинета, – сказал он, указывая на баронессу. – Вы ведь знакомы?

– Еще бы! – сказал Вронский, весело улыбаясь и пожимая маленькую ручку баронессы. – Как же! старый друг.

– Вы домой с дороги, – сказала баронесса, – так я бегу. Ах, я уеду сию минуту, если я мешаю.

– Вы дома там, где вы, баронесса, – сказал Вронский. – Здравствуй, Камеровский, – прибавил он, холодно пожимая руку Камеровского.

– Вот вы никогда не умеете говорить такие хорошенькие вещи, – обратилась баронесса к Петрицкому.

– Нет, отчего же? После обеда и я скажу не хуже.

– Да после обеда нет заслуги! Ну, так я вам дам кофею, идите мойтесь и убирайтесь, – сказала баронесса, опять садясь и заботливо поворачивая винтик в новом кофейнике. – Пьер, дайте кофе, – обратилась она к Петрицкому, которого она называла Пьер, по его фамилии Петрицкий, не скрывая своих отношений с ним. – Я прибавлю.

– Испортите.

– Нет, не испорчу! Ну, а ваша жена? – сказала вдруг баронесса, перебивая разговор Вронского с товарищем. – Вы не привезли вашу жену? Мы здесь женили вас.

– Нет, баронесса. Я рожден цыганом и умру цыганом.

– Тем лучше, тем лучше. Давайте руку.

И баронесса, не отпуская Вронского, стала ему рассказывать, пересыпая шутками, свои последние планы жизни и спрашивать его совета.

– Он все не хочет давать мне развода! Ну что же мне делать? (Он был муж ее.) Я теперь хочу процесс начинать. Как вы мне посоветуете? Камеровский, смотрите же за кофеем – ушел; вы видите, я занята делами! Я хочу процесс, потому что состояние мне нужно мое. Вы понимаете ли эту глупость, что я ему будто бы неверна, – с презрением сказала она, – и от этого он хочет пользоваться моим именем.

Вронский слушал с удовольствием этот веселый лепет хорошенькой женщины, поддакивал ей, давал полушутливые советы и вообще тотчас же принял свой привычный тон обращения с этого рода женщинами. В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположные сорта. Один низший сорт: пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одной женой, с которой он обвенчан, что

девушке надо быть невинною, женщине стыдливою, мужчине мужественным, воздержным и твердым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги, – и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных. Но был другой сорт людей, настоящих, к которому они все принадлежали, в котором надо быть, главное, элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой страсти не краснея и над всем остальным смеяться.

Вронский только в первую минуту был ошеломлен после впечатлений совсем другого мира, привезенных им из Москвы; но тотчас же, как будто всунул ноги в старые туфли, он вошел в свой прежний веселый и приятный мир.

Кофе так и не сварился, а обрызгал всех и ушел и произвел именно то самое, что было нужно, то есть подал повод к шуму и смеху и залил дорогой ковер и платье баронессы.

– Ну, теперь прощайте, а то вы никогда не умоетесь, и на моей совести будет главное преступление порядочного человека, нечистоплотность. Так вы советуете нож к горлу?

– Непременно, и так, чтобы ваша ручка была поближе от его губ. Он поцелует вашу ручку, и все кончится благополучно, – отвечал Вронский.

– Так нынче во Французском! – И, зашумев платьем, она исчезла.

Камеровский поднялся тоже, а Вронский, не дожидаясь его ухода, подал ему руку и отправился в уборную. Пока он умывался, Петрицкий описал ему в кратких чертах свое положение, насколько оно изменилось после отъезда Вронского. Денег нет ничего. Отец сказал, что не даст и не заплатит долгов. Портной хочет посадить, и другой тоже непременно грозит посадить. Полковой командир объявил, что если эти скандалы не прекратятся, то надо выходить. Баронесса надоела, как горькая редька, особенно тем, что все хочет давать деньги; а есть одна, он ее покажет Вронскому, чудо, прелесть, в восточном строгом стиле, «генге рабыни Ребекки, понимаешь». С Беркошевым тоже вчера разбранился, и он хотел прислать секундантов, но, разумеется, ничего не выйдет. Вообще же все превосходно и чрезвычайно весело. И, не давая товарищу углубляться в подробности своего положения, Петрицкий пустился рассказывать ему все интересные новости. Слушая столь знакомые рассказы Петрицкого в столь знакомой обстановке своей трехлетней квартиры, Вронский испытывал приятное чувство возвращения к привычной и беззаботной петербургской жизни.

– Не может быть! – закричал он, отпустив педаль умывальника, которым он обливал свою красную здоровую шею. – Не может быть! – закричал он при известии о том, что Лора сошлась с Милеевым и бросила Фертингофа. – И он все так же глуп и доволен? Ну, а Бузулуков что?

– Ах, с Бузулуковым была история – прелесть! – закричал Петрицкий. – Ведь его страсть – балы, и он ни одного придворного бала не пропускает. Отправился он на большой бал в новой каске. Ты видел новые каски? Очень хороши, легче. Только стоит он... Нет, ты слушай.

– Да я слушаю, – растираясь мохнатым полотенцем, отвечал Вронский.

– Проходит великая княгиня с каким-то послом, и на его беду зашел у них разговор о новых касках. Великая княгиня и хотела показать новую каску... Видят, наш голубчик стоит. (Петрицкий представил, как он стоит с каской.) Великая княгиня попросила себе подать каску, – он не дает. Что такое? Только ему мигают, кивают, хмурятся. Подай. Не дает. Замер. Можешь себе представить!.. Только этот... как его... хочет уже взять у него каску... не дает!.. Он вырвал, подает великой княгине. «Вот эта новая», – говорит великая княгиня. Повернула каску, и, можешь себе представить, оттуда бух! груша, конфеты, два фунта конфет!.. Он это набрал, голубчик!

Вронский покатылся со смеху. И долго потом, говоря уже о другом, закатывался своим здоровым смехом, выставляя свои крепкие сплошные зубы, когда вспоминал о каске.

Узнав все новости, Вронский с помощью лакея оделся в мундир и поехал являться. Явившись, он намерен был съездить к брату, к Бетси и сделать несколько визитов с тем, чтоб начать

ездить в тот свет, где бы он мог встречать Каренину. Как и всегда в Петербурге, он выехал из дома с тем, чтобы не возвращаться до поздней ночи.

Часть вторая

I

В конце зимы в доме Щербацких происходил консилиум, долженствовавший решить, в каком положении находится здоровье Кити и что нужно предпринять для восстановления ее ослабевающих сил. Она была больна, и с приближением весны здоровье ее становилось хуже. Домашний доктор давал ей рыбий жир, потом железо, потом лапис, но так как ни то, ни другое, ни третье не помогало и так как он советовал от весны уехать за границу, то приглашен был знаменитый доктор. Знаменитый доктор, не старый еще, весьма красивый мужчина, потребовал осмотра больной. Он с особенным удовольствием, казалось, настаивал на том, что девичья стыдливость есть только остаток варварства и что нет ничего естественнее, как то, чтоб еще не старый мужчина ощупывал молодую обнаженную девушку. Он находил это естественным, потому что делал это каждый день и при этом ничего не чувствовал и не думал, как ему казалось, дурного, и поэтому стыдливость в девушке он считал не только остатком варварства, но и оскорблением себе.

Надо было покориться, так как, несмотря на то, что все доктора учились в одной школе, по одним и тем же книгам, знали одну науку, и несмотря на то, что некоторые говорили, что этот знаменитый доктор был дурной доктор, в доме княгини и в ее кругу было признано почему-то, что этот знаменитый доктор один знает что-то особенное и один может спасти Кити. После внимательного осмотра и постукивания растерянной и ошеломленной от стыда больной знаменитый доктор, старательно вымыв свои руки, стоял в гостиной и говорил с князем. Князь хмурился, покашливая, слушая доктора. Он, как поживший, не глупый и не больной человек, не верил в медицину и в душе злился на всю эту комедию, тем более что едва ли не он один вполне понимал причину болезни Кити. «То-то пустобрех», – думал он, применяя в мыслях это название из охотничьего словаря к знаменитому доктору и слушая его болтовню о признаках болезни дочери. Доктор между тем с трудом удерживал выражение презрения к этому старому баричу и с трудом спускался до низменности его понимания. Он понимал, что с стариком говорить нечего и что глава в этом доме – мать. Пред нею-то он намеревался рассыпать свой бисер. В это время княгиня вошла в гостиную с домашним доктором. Князь отошел, стараясь не дать заметить, как ему смешна была вся эта комедия. Княгиня была растеряна и не знала, что делать. Она чувствовала себя виноватою пред Кити.

– Ну, доктор, решайте нашу судьбу, – сказала княгиня. – Говорите мне всё. – «Есть ли надежда?» – хотела она сказать, но губы ее задрожали, и она не могла выговорить этот вопрос. – Ну что, доктор?...

– Сейчас, княгиня, переговорю с коллегой и тогда буду иметь честь доложить вам свое мнение.

– Так нам вас оставить?

– Как вам будет угодно.

Княгиня, вздохнув, вышла.

Когда доктора остались одни, домашний врач робко стал излагать свое мнение, состоящее в том, что есть начало туберкулезного процесса, но... и т. д. Знаменитый доктор слушал его и в середине его речи посмотрел на свои крупные золотые часы.

– Так, – сказал он. – Но...

Домашний врач замолк почтительно на середине речи.

– Определить, как вы знаете, начало туберкулезного процесса мы не можем; до появления каверн нет ничего определенного. Но подозревать мы можем. И указания есть: дурное питание,

нервное возбуждение и прочее. Вопрос стоит так: при подозрении туберкулезного процесса что нужно сделать, чтобы поддержать питание?

– Но, ведь вы знаете, тут всегда скрываются нравственные, духовные причины, – с тонкою улыбкой позволил себе вставить домашний доктор.

– Да, это само собой разумеется, – отвечал знаменитый доктор, опять взглянув на часы. – Виноват, что, поставлен ли Яузский мост или надо все еще кругом объезжать? – спросил он. – А! поставлен. Да, ну так я в двадцать минут могу быть. Так мы говорили, что вопрос так поставлен; поддержать питание и исправить нервы. Одно в связи с другим, надо действовать на обе стороны круга.

– Но поездка за границу? – спросил домашний доктор.

– Я враг поездок за границу. И изволите видеть: если есть начало туберкулезного процесса, чего мы знать не можем, то поездка за границу не поможет. Необходимо такое средство, которое бы поддерживало питание и не вредило.

И знаменитый доктор изложил свой план лечения водами Соденскими, при назначении которых главная цель, очевидно, состояла в том, что они повредить не могут.

Домашний доктор внимательно и почтительно выслушал.

– Но в пользу поездки за границу я бы выставил перемену привычек, удаление от условий, вызывающих воспоминания. И потом матери хочется, – сказал он.

– А! Ну, в этом случае, что ж, пускай едут; только повредят эти немецкие шарлатаны... Надо, чтобы слушались... Ну, так пускай едут.

Он опять взглянул на часы.

– О! уже пора, – и пошел к двери.

Знаменитый доктор объявил княгине (чувство приличия подсказало это), что ему нужно видеть еще раз больную.

– Как! еще раз осматривать! – с ужасом воскликнула мать.

– О нет, мне некоторые подробности, княгиня.

– Милости просим.

И мать, сопутствуемая доктором, вошла в гостиную к Кити. Исхудавшая и румяная, с особенным блеском в глазах вследствие перенесенного стыда, Кити стояла посреди комнаты. Когда доктор вошел, она вспыхнула, и глаза ее наполнились слезами. Вся ее болезнь и лечение представлялись ей такою глупою, даже смешною вещью! Лечение ее представлялось ей столь же смешным, как составление кусков разбитой вазы. Сердце ее было разбито. Что же они хотят лечить ее пилюлями и порошками? Но нельзя было оскорблять мать, тем более что мать считала себя виноватою.

– Потрудитесь присесть, княжна, – сказал знаменитый доктор.

Он с улыбкой сел против нее, взял пульс и опять стал делать скучные вопросы. Она отвечала ему и вдруг, рассердившись, встала.

– Извините меня, доктор, но это, право, ни к чему не поведет, и вы у меня по три раза то же самое спрашиваете.

Знаменитый доктор не обиделся.

– Болезненное раздражение, – сказал он княгине, когда Кити вышла. – Впрочем, я кончил...

И доктор пред княгиней, как пред исключительно умною женщиной, научно определил положение княжны и заключил наставлением о том, как пить те воды, которые были не нужны. На вопрос, ехать ли за границу, доктор углубился в размышления, как бы разрешая трудный вопрос. Решение, наконец, было изложено: ехать и не верить шарлатанам, а во всем обращаться к нему.

Как будто что-то веселое случилось после отъезда доктора. Мать повеселела, вернувшись к дочери, и Кити притворилась, что она повеселела. Ей часто, почти всегда, приходилось теперь притворяться.

– Право, я здорова, маман. Но если вы хотите ехать, поедemте! – сказала она и, стараясь показать, что интересуется предстоящею поездкой, стала говорить о приготовлениях к отъезду.

II

Вслед за доктором приехала Долли. Она знала, что в этот день должен быть консилиум, и, несмотря на то, что недавно поднялась от родов (она родила девочку в конце зимы), несмотря на то, что у ней было много своего горя и забот, оставив грудного ребенка и заболевшую девочку, она заехала узнать об участии Кити, которая решалась нынче.

– Ну, что? – сказала она, входя в гостиную и не снимая шляпы. – Вы все веселые. Верно, хорошо?

Ей попробовали рассказывать, что говорил доктор, но оказалось, что, хотя доктор и говорил очень складно и долго, никак нельзя было передать того, что он сказал. Интересно было только то, что решено ехать за границу.

Долли невольно вздохнула. Лучший друг ее, сестра, уезжала. А жизнь ее была не весела. Отношения к Степану Аркадьичу после примирения сделались унижительны. Спайка, сделанная Анной, оказалась непрочна, и семейное согласие надломилось опять в том же месте. Определенного ничего не было, но Степана Аркадьича никогда почти не было дома, денег тоже никогда почти не было дома, и подозрения неверностей постоянно мучали Долли, и она уже отгоняла их от себя, боясь испытанных страданий ревности. Первый взрыв ревности, раз пережитый, уже не мог возвратиться, и даже открытие неверности не могло бы уже так подействовать на нее, как в первый раз. Такое открытие теперь только лишило бы ее семейных привычек, и она позволяла себя обманывать, презирая его и больше всего себя за эту слабость. Сверх того, заботы большого семейства беспрестанно мучали ее: то кормление грудного ребенка не шло, то нянька ушла, то, как теперь, заболел один из детей.

– Что, как твой? – спросила мать.

– Ах, маман, у вас своего горя много. Лили заболела, и я боюсь, что скарлатина. Я вот теперь выехала, чтоб узнать, а то засяду уже безвыездно, если, избави бог, скарлатина.

Старый князь после отъезда доктора тоже вышел из своего кабинета и, подставив свою щеку Долли и поговорив с ней, обратился к жене:

– Как же решаете, едете? Ну, а со мной что хотите делать?

– Я думаю, тебе остаться, Александр Андреич, – сказала жена.

– Как хотите.

– Маман, отчего же папá не ехать с нами? – сказала Кити. – И ему веселей и нам.

Старый князь встал и погладил рукой волосы Кити. Она подняла лицо и, насильно улыбаясь, смотрела на него. Ей всегда казалось, что он лучше всех в семье понимает ее, хотя он мало говорил с ней. Она была, как меньшая, любимица отца, и ей казалось, что любовь его к ней делала его проникательным. Теперь, встретившись с его голубыми, добрыми глазами, пристально смотревшими на нее с его сморщенного лица, ей казалось, что он насквозь видит ее и понимает все то нехорошее, что в ней делается. Она, краснея, потянулась к нему, ожидая поцелуя, но он только потрепал ее по волосам и проговорил:

– Эти глупые шиньоны! До настоящей дочери и не доберешься, а ласкаешь волосы дохлых баб. Ну что, Долинька, – обратился он к старшей дочери, – твой козырь что поделявает?

– Ничего, папа, – отвечала Долли, понимая, что речь идет о муже. – Все ездит, я его почти не вижу, – не могла она не прибавить с насмешливою улыбкой.

– Что ж, он не уехал еще в деревню лес продавать?

– Нет, все собирается.

– Вот как! – проговорил князь. – Так и мне собираться? Слушаю-с, – обратился он к жене, садясь. – А ты вот что, Катя, – прибавил он к меньшей дочери, – ты когда-нибудь, в один прекрасный день, проснись и скажи себе: да ведь я совсем здорова и весела, и пойдем с папá опять рано утром по морозцу гулять. А?

Казалось, очень просто то, что сказал отец, но Кити при этих словах смешалась и растерялась, как уличенный преступник. «Да, он все знает, все понимает и этими словами говорит мне, что хотя и стыдно, а надо пережить свой стыд». Она не могла собраться с духом ответить что-нибудь. Начала было и вдруг расплакалась и выбежала из комнаты.

– Вот твои шутки! – напустилась княгиня на мужа. – Ты всегда... – начала она свою укоризненную речь.

Князь слушал довольно долго упреки княгини и молчал, но лицо его все более и более хмурилось.

– Она так жалка, бедняжка, так жалка, а ты не чувствуешь, что ей больно от всякого намека на то, что причиной. Ах! так ошибаться в людях! – сказала княгиня, и по перемене ее тона Долли и князь поняли, что она говорила о Вронском. – Я не понимаю, как нет законов против таких гадких, неблагородных людей.

– Ах, не слушал бы! – мрачно проговорил князь, вставая с кресла и как бы желая уйти, но останавливаясь в дверях. – Законы есть, матушка, и если ты уж вызвала меня на это, то я тебе скажу, кто виноват во всем: ты и ты, одна ты. Законы против таких молодчиков всегда были и есть! Да-с, если бы не было того, чего не должно было быть, я – старик, но я бы поставил его на барьер, этого франта. Да, а теперь и лечите, возите к себе этих шарлатанов.

Князь, казалось, имел сказать еще многое, но как только княгиня услышала его тон, она, как это всегда бывало в серьезных вопросах, тотчас же смирилась и раскаялась.

– Alexandre, Alexandre, – шептала она, подвигаясь, и расплакалась.

Как только она заплакала, князь тоже затих. Он подошел к ней.

– Ну, будет, будет! И тебе тяжело, я знаю. Что делать? Беды большой нет. Бог милостив... благодарствуй... – говорил он, уже сам не зная, что говорит, и отвечая на мокрый поцелуй княгини, который он почувствовал на своей руке, и вышел из комнаты.

Еще как только Кити в слезах вышла из комнаты, Долли с своею материнскою, семейною привычкою тотчас же увидала, что тут предстоит женское дело, и приготовилась сделать его. Она сняла шляпку и, нравственно засучив рукава, приготовилась действовать. Во время нападения матери на отца она пыталась удерживать мать, насколько позволяла дочерняя почтительность. Во время взрыва князя она молчала; она чувствовала стыд за мать и нежность к отцу за его сейчас же вернувшуюся доброту; но когда отец ушел, она собралась сделать главное, что было нужно, – идти к Кити и успокоить ее.

– Я вам давно хотела сказать, мамап: вы знаете ли, что Левин хотел сделать предложение Кити, когда он был здесь в последний раз? Он говорил Стиве.

– Ну что ж? Я не понимаю...

– Так, может быть, Кити отказала ему?... Она вам не говорила?

– Нет, она ничего не говорила ни про того, ни про другого; она слишком горда. Но я знаю, что все от этого...

– Да, вы представьте себе, если она отказала Левину, – а она бы не отказала ему, если б не было того, я знаю... И потом этот так ужасно обманул ее.

Княгине слишком страшно было думать, как много она виновата пред дочерью, и она рассердилась.

– Ах, я уж ничего не понимаю! Нынче всё хотят своим умом жить, матери ничего не говорят, а потом вот и...

– Мамап, я пойду к ней.

– Поди. Разве я тебе запрещаю? – сказала мать.

III

Войдя в маленький кабинет Кити, хорошенькую, розовенькую, с куколками *vieux sape*¹⁸, комнатку, такую же молоденькую, розовенькую и веселую, какою была сама Кити еще два месяца тому назад, Долли вспомнила, как убирала они вместе прошлого года эту комнатку, с каким весельем и любовью. У ней похолодело сердце, когда она увидела Кити, сидевшую на низеньком, ближайшем от двери стуле и устремившую неподвижные глаза на угол ковра. Кити взглянула на сестру, и холодное, несколько суровое выражение ее лица не изменилось.

– Я теперь уеду и засяду дома, и тебе нельзя будет ко мне, – сказала Дарья Александровна, садясь подле нее. – Мне хочется поговорить с тобой.

– О чем? – испуганно подняв голову, быстро спросила Кити.

– О чем, как не о твоём горе?

– У меня нет горя.

– Полно, Кити. Неужели ты думаешь, что я могу не знать? Я все знаю. И поверь мне, это так ничтожно... Мы все прошли через это.

Кити молчала, и лицо ее имело строгое выражение.

– Он не стоит того, чтобы ты страдала из-за него, – продолжала Дарья Александровна, прямо приступая к делу.

– Да, потому что он мною пренебрег, – дребезжащим голосом проговорила Кити. – Не говори! Пожалуйста, не говори!

– Да кто же тебе это сказал? Никто этого не говорил. Я уверена, что он был влюблен в тебя и остался влюблен, но...

– Ах, ужаснее всего мне эти соболезнованья! – вскрикнула Кити, вдруг рассердившись. Она повернулась на стуле, покраснела и быстро зашевелила пальцами, сжимая то тою, то другою рукой пряжку пояса, которую она держала. Долли знала эту манеру сестры перехватывать руками, когда она приходила в горячность; она знала, как Кити способна была в минуту горячности забыть и наговорить много лишнего и неприятного, и Долли хотела успокоить ее; но было уже поздно.

– Что, что ты хочешь мне дать почувствовать, что? – говорила Кити быстро. – То, что я была влюблена в человека, который меня знать не хотел, и что я умираю от любви к нему? И это мне говорит сестра, которая думает, что... что... что она соболезнует!.. Не хочу я этих сожалений и притворств!

– Кити, ты несправедлива.

– Зачем ты мучаешь меня?

– Да я, напротив... Я вижу, что огорчена...

Но Кити в своей горячке не слышала ее.

– Мне не о чем сокрушаться и утешаться. Я настолько горда, что никогда не позволю себе любить человека, который меня не любит.

– Да я и не говорю... Одно – скажи мне правду, – проговорила, взяв ее за руку, Дарья Александровна, – скажи мне, Левин говорил тебе?...

Упоминание о Левине, казалось, лишило Кити последнего самообладания; она вскочила со стула и, бросив пряжку о землю и делая быстрые жесты руками, заговорила:

– К чему тут еще Левин? Не понимаю, зачем тебе нужно мучить меня? Я сказала и повторяю, что я горда и никогда, никогда я не сделаю то, что ты делаешь, – чтобы вернуться к человеку, который тебе изменил, который полюбил другую женщину. Я не понимаю, не понимаю этого! Ты можешь, а я не могу!

¹⁸ Старого саксонского фарфора (*франц.*).

И, сказав эти слова, она взглянула на сестру, и, увидев, что Долли молчит, грустно опустив голову, Кити, вместо того чтобы выйти из комнаты, как намеревалась, села у двери и, закрыв лицо платком, опустила голову.

Молчание продолжалось минуты две. Долли думала о себе. То свое унижение, которое она всегда чувствовала, особенно больно отозвалось в ней, когда о нем напомнила ей сестра. Она не ожидала такой жестокости от сестры и сердилась на нее. Но вдруг она услышала шум платья и вместе звук разразившегося сдержанного рыдания, и чьи-то руки снизу обняли ее шею. Кити на коленях стояла перед ней.

– Долинька, я так, так несчастна! – виновато прошептала она.

И покрытое слезами милое лицо спряталось в юбку платья Дарьи Александровны.

Как будто слезы были та необходимая мазь, без которой не могла идти успешно машина взаимного общения между двумя сестрами, – сестры после слез разговорились не о том, что занимало их; но, и говоря о постороннем, они поняли друг друга. Кити поняла, что сказанное ею в сердцах слово о неверности мужа и об унижении до глубины сердца поразило бедную сестру, но что она прощала ей. Долли, с своей стороны, поняла все, что она хотела знать; она убедилась, что догадки ее были верны, что горе, неизлечимое горе Кити состояло именно в том, что Левин делал предложение и что она отказала ему, а Вронский обманул ее, и что она готова была любить Левина и ненавидеть Вронского. Кити ни слова не сказала об этом; она говорила только о своем душевном состоянии.

– У меня нет никакого горя, – говорила она, успокоившись, – но ты можешь ли понять, что мне все стало гадко, противно, грубо, и прежде всего я сама. Ты не можешь себе представить, какие у меня гадкие мысли обо всем.

– Да какие же могут быть у тебя гадкие мысли? – спросила Долли, улыбаясь.

– Самые, самые гадкие и грубые; не могу тебе сказать. Это не тоска, не скука, а гораздо хуже. Как будто все, что было хорошего во мне, все спряталось, а осталось одно самое гадкое. Ну, как тебе сказать? – продолжала она, видя недоумение в глазах сестры. – Папа сейчас мне начал говорить... мне кажется, он думает только, что мне нужно выйти замуж. Мама везет меня на бал: мне кажется, что она только затем везет меня, чтобы поскорее выдать замуж и избавиться от меня. Я знаю, что это неправда, но не могу отогнать этих мыслей. Женихов так называемых я видеть не могу. Мне кажется, что они с меня мерку снимают. Прежде ехать куда-нибудь в бальном платье для меня было просто удовольствие, я собой любовалась; теперь мне стыдно, неловко. Ну, что хочешь! Доктор... Ну...

Кити замялась; она хотела далее сказать, что с тех пор, как с ней сделалась эта перемена, Степан Аркадьич ей стал невыносимо неприятен и что она не может видеть его без представлений самых грубых и безобразных.

– Ну да, все мне представляется в самом грубом, гадком виде, – продолжала она. – Это моя болезнь. Может быть, это пройдет...

– А ты не думай...

– Не могу. Только с детьми мне хорошо, только у тебя.

– Жаль, что нельзя тебе бывать у меня.

– Нет, я приеду. У меня была scarlatina, и я упрошу маман.

Кити настояла на своем и переехала к сестре и всю scarlatину, которая действительно пришла, ухаживала за детьми. Обе сестры благополучно выходили всех шестерых детей, но здоровье Кити не поправилось, и великим постом Щербацкие уехали за границу.

IV

Петербургский высший круг, собственно, один; все знают друг друга, даже ездят друг к другу. Но в этом большом круге есть свои подразделения. Анна Аркадьевна Каренина имела друзей и тесные связи в трех различных кругах. Один круг был служебный, официальный круг ее мужа, состоявший из его сослуживцев и подчиненных, самым разнообразным и прихотливым образом связанных и разъединенных в общественных условиях. Анна теперь с трудом могла вспомнить то чувство почти набожного уважения, которое она в первое время имела к этим лицам. Теперь она знала всех их, как знают друг друга в уездном городе; знала, у кого какие привычки и слабости, у кого какой сапог жмет ногу; знала их отношения друг к другу и к главному центру; знала, кто за кого и как и чем держится и кто с кем и в чем сходятся и расходятся; но этот круг правительственных, мужских интересов никогда, несмотря на внушение графини Лидии Ивановны, не мог интересовать ее, и она избегала его.

Другой близкий Анне кружок – это был тот, через который Алексей Александрович сделал свою карьеру. Центром этого кружка была графиня Лидия Ивановна. Это был кружок старых, некрасивых, добродетельных и набожных женщин и умных, ученых, честолюбивых мужчин. Один из умных людей, принадлежащих к этому кружку, называл его «совестью петербургского общества». Алексей Александрович очень дорожил этим кружком, и Анна, так умевшая сживаться со всеми, нашла себе в первое время своей петербургской жизни друзей и в этом круге. Теперь же, по возвращении из Москвы, кружок этот ей стал невыносим. Ей показалось, что и она и все они притворяются, и ей стало так скучно и неловко в этом обществе, что она сколько возможно менее ездила к графине Лидии Ивановне.

Третий круг, наконец, где она имела связи, был, собственно, свет, – свет балов, обедов, блестящих туалетов, свет, державшийся одною рукой за двор, чтобы не спуститься до полусвета, который члены этого круга думали, что презирали, но с которым вкусы у него были не только сходные, но одни и те же. Связь ее с этим кругом держалась чрез княгиню Бетси Тверскую, жену ее двоюродного брата, у которой было сто двадцать тысяч дохода и которая с самого появления Анны в свет особенно полюбила ее, ухаживала за ней и втягивала в свой круг, смеясь над кругом графини Лидии Ивановны.

– Когда стара буду и дурна, я сделаюсь такая же, – говорила Бетси, – но для вас, для молодой, хорошенькой женщины, еще рано в эту богадельню.

Анна первое время избегала, сколько могла, этого света княгини Тверской, так как он требовал расходов выше ее средств, да и по душе она предпочитала первый; но после поездки в Москву сделалось наоборот. Она избегала нравственных друзей своих и ездила в большой свет. Там она встречала Вронского и испытывала волнующую радость при этих встречах. Особенно часто встречала она Вронского у Бетси, которая была урожденная Вронская и ему двоюродная. Вронский был везде, где только мог встречать Анну, и говорил ей, когда мог, о своей любви. Она ему не подавала никакого повода, но каждый раз, как она встречалась с ним, в душе ее загоралось то самое чувство оживления, которое нашло на нее в тот день в вагоне, когда она в первый раз увидела его. Она сама чувствовала, что при виде его радость светилась в ее глазах и морщила ее губы в улыбку, и она не могла затушить выражение этой радости.

Первое время Анна искренно верила, что она недовольна им за то, что он позволяет себе преследовать ее; но скоро по возвращении своем из Москвы, приехав на вечер, где она думала встретить его, а его не было, она по овладевшей ею грусти ясно поняла, что она обманывала себя, что это преследование не только не неприятно ей, но что оно составляет весь интерес ее жизни.

Знаменитая певица пела второй раз, и весь большой свет был в театре. Увидав из своего кресла в первом ряду кузину, Вронский, не дождавшись антракта, вошел к ней в ложу.

– Что ж вы не приехали обедать? – сказала она ему. – Удивляюсь этому ясновиденью влюбленных, – прибавила она с улыбкой, так, чтоб он один слышал: – Она не была. Но приезжайте после оперы.

Вронский вопросительно взглянул на нее. Она нагнула голову. Он улыбкой поблагодарил ее и сел подле нее.

– А как я вспоминаю ваши насмешки! – продолжала княгиня Бетси, находившая особенное удовольствие в следовании за успехом этой страсти. – Куда это все делось! Вы пойманы, мой милый.

– Я только того и желаю, чтобы быть пойманным, – отвечал Вронский с своею спокойною добродушною улыбкой. – Если я жалуюсь, то на то только, что слишком мало пойман, если говорить правду. Я начинаю терять надежду.

– Какую ж вы можете иметь надежду? – сказала Бетси, оскорбившись за своего друга, – *entendons nous*¹⁹. – Но в глазах ее бегали огоньки, говорившие, что она очень хорошо, и точно так же, как и он, понимает, какую он мог иметь надежду.

– Никакой, – смеясь и выставляя свои сплошные зубы, сказал Вронский. – Виноват, – прибавил он, взяв из ее руки бинокль и принявшись оглядывать чрез ее обнаженное плечо противоположный ряд лож. – Я боюсь, что становлюсь смешон.

Он знал очень хорошо, что в глазах Бетси и всех светских людей он не рисковал быть смешным. Он знал очень хорошо, что в глазах этих лиц роль несчастного любовника девушки и вообще свободной женщины может быть смешна; но роль человека, приставшего к замужней женщине и во что бы то ни стало положившего свою жизнь на то, чтобы вовлечь ее в прелюбодеянье, что роль эта имеет что-то красивое, величественное и никогда не может быть смешна, и поэтому он с гордою и веселою, игравшею под его усами улыбкой, опустил бинокль и посмотрел на кузину.

– А отчего вы не приехали обедать? – сказала она, любуясь им.

– Это надо рассказать вам. Я был занят, и чем? Даю вам это из ста, из тысячи... не угадаете. Я мирил мужа с оскорбителем его жены. Да, право!

– Что ж, и помирили?

– Почти.

– Надо, чтобы вы мне это рассказали, – сказала она, вставая. – Приходите в тот антракт.

– Нельзя; я еду во Французский театр.

– От Нильсон? – с ужасом спросила Бетси, которая ни за что бы не распознала Нильсон от всякой хористки.

– Что ж делать? Мне там свиданье, все по этому делу моего миротворства.

– Блаженны миротворцы, они спасутся, – сказала Бетси, вспоминая что-то подобное, слышанное ею от кого-то. – Ну, так садитесь, расскажите, что такое?

И она опять села.

¹⁹ Поймем друг друга... (франц.)

V

– Это немножко нескромно, но так мило, что ужасно хочется рассказать, – сказал Вронский, глядя на нее смеющимися глазами. – Я не буду называть фамилий.

– Но я буду угадывать, тем лучше.

– Слушайте же: едут два веселые молодые человека...

– Разумеется, офицеры вашего полка?

– Я не говорю офицеры, просто два позавтракавшие молодые человека...

– Переводите: выпившие.

– Может быть. Едут на обед к товарищу, в самом веселом расположении духа. И видят, хорошенькая женщина обгоняет их на извозчике, оглядывается и, им по крайней мере кажется, кивает им и смеется. Они, разумеется, за ней. Скачут во весь дух. К удивлению их, красавица останавливается у подъезда того самого дома, куда они едут. Красавица взбегаёт на верхний этаж. Они видят только румяные губки из-под короткого вуаля и прекрасные маленькие ножки.

– Вы с таким чувством это рассказываете, что мне кажется, вы сами один из этих двух.

– А сейчас вы мне что говорили? Ну, молодые люди входят к товарищу, у него обед прощальный. Тут, точно, они выпивают, может быть, лишнее, как всегда на прощальных обедах. И за обедом расспрашивают, кто живет наверху в этом доме. Никто не знает, и только лакей хозяина на их вопрос: живут ли наверху мамзели, отвечает, что их тут очень много. После обеда молодые люди отправляются в кабинет к хозяину и пишут письмо к неизвестной. Написали страстное письмо, признание, и сами несут письмо наверх, чтобы разъяснить то, что в письме оказалось бы не совсем понятным.

– Зачем вы мне такие гадости рассказываете? Ну?

– Звонят. Выходит девушка, они дают письмо и уверяют девушку, что оба так влюблены, что сейчас умрут тут у двери. Девушка в недоумении ведет переговоры. Вдруг является господин с бакенбардами колбасиками, красный, как рак, объявляет, что в доме никто не живет, кроме его жены, и выгоняет обоих.

– Почему же вы знаете, что у него бакенбарды, как вы говорите, колбасиками?

– А вот слушайте. Нынче я ездил мирить их.

– Ну и что же?

– Тут-то самое интересное. Оказывается, что это счастливая чета титулярного советника и титулярной советницы. Титулярный советник подает жалобу, и я делаюсь примирителем, и каким! Уверяю вас, Талейран ничто в сравнении со мной.

– В чем же трудность?

– Да вот послушайте... Мы извинились как следует: «Мы в отчаянии, мы просим простить за несчастное недоразумение». Титулярный советник с колбасиками начинает таять, но желает тоже выразить свои чувства, и как только он начинает выражать их, так начинает горячиться и говорить грубости, и опять я должен пускать в ход все свои дипломатические таланты. «Я согласен, что поступок их нехорош, но прошу вас принять во внимание недоразумение, молодость; потом, молодые люди только позавтракали. Вы понимаете. Они раскаиваются от всей души, просят простить их вину». Титулярный советник опять смягчается: «Я согласен, граф, и я готов простить, но понимаете, что моя жена, моя жена, честная женщина, подвергается преследованиям, грубостям и дерзостям каких-нибудь мальчишек, мерз...» А вы понимаете, мальчишка этот тут, и мне надо примирять их. Опять я пускаю в ход дипломатию, и опять, как только надо заключить все дело, мой титулярный советник горячится, краснеет, колбасики поднимаются, и опять я разливаюсь в дипломатических тонкостях.

– Ах, это надо рассказать вам! – смеясь, обратилась Бетси к входившей в ее ложу даме. – Он так насмешил меня.

– Ну, *bonne chance*²⁰, – прибавила она, подавая Вронскому палец, свободный от держания веера, и движением плеч опуская поднявшийся лиф платья, с тем чтобы, как следует, быть вполне голою, когда выйдет вперед, к рампе, на свет газа и на все глаза.

Вронский поехал во Французский театр, где ему действительно нужно было видеть полкового командира, не пропускавшего ни одного представления во Французском театре, с тем чтобы переговорить с ним о своем миротворстве, которое занимало и забавляло его уже третий день. В деле этом был замешан Петрицкий, которого он любил, и другой, недавно поступивший, славный малый, отличный товарищ, молодой князь Кедров. А главное, тут были замешаны интересы полка.

Оба были в эскадроне Вронского. К полковому командиру приезжал чиновник, титулярный советник Венден, с жалобой на его офицеров, которые оскорбили его жену. Молодая жена его, как рассказывал Венден, – он был женат полгода, – была в церкви с матушкой и, вдруг почувствовав нездоровье, происходящее от известного положения, не могла больше стоять и поехала домой на первом попавшемся ей лихаче-извозчике. Тут за ней погнались офицеры, она испугалась и, еще более разболевшись, взбежала по лестнице домой. Сам Венден, вернувшись из присутствия, услышал звонок и какие-то голоса, вышел и, увидав пьяных офицеров с письмом, вытолкал их. Он просил строгого наказания.

– Нет, как хотите, – сказал полковой командир Вронскому, пригласив его к себе, – Петрицкий становится невозможным. Не проходит недели без истории. Этот чиновник не оставит дела, он пойдет дальше.

Вронский видел всю неблагоприятность этого дела и что тут дуэли быть не может, что надо все сделать, чтобы смягчить этого титулярного советника и замять дело. Полковой командир призвал Вронского именно потому, что знал его за благородного и умного человека и, главное, за человека, дорожащего честью полка. Они потолковали и решили, что надо ехать Петрицкому и Кедрову с Вронским к этому титулярному советнику извиняться. Полковой командир и Вронский оба понимали, что имя Вронского и флигель-адъютантский вензель должны много содействовать смягчению титулярного советника. И действительно, эти два средства оказались отчасти действительны; но результат примирения остался сомнительным, как и рассказывал Вронский.

Приехав во Французский театр, Вронский удалился с полковым командиром в фойе и рассказал ему свой успех или неуспех. Обдумав все, полковой командир решил оставить дело без последствий, но потом ради удовольствия стал расспрашивать Вронского о подробностях его свиданья и долго не мог удержаться от смеха, слушая рассказ Вронского о том, как затихавший титулярный советник вдруг опять разгорался, вспоминая подробности дела, и как Вронский, лавируя при последнем полуслове примирения, ретировался, толкая вперед себя Петрицкого.

– Скверная история, но утомительная. Не может же Кедров драться с этим господином! Так ужасно горячился? – смеясь, переспросил он. – А какова нынче Клер? Чудо! – сказал он про новую французскую актрису. – Сколько ни смотри, каждый день новая. Только одни французы могут это.

²⁰ Желая удачи (*франц.*).

VI

Княгиня Бетси, не дождавшись конца последнего акта, уехала из театра. Только что успела она войти в свою уборную, обсыпать свое длинное бледное лицо пудрой, стереть ее, оправить прическу и приказать чай в большой гостиной, как уж одна за другую стали подъезжать кареты к ее огромному дому на Большой Морской. Гости выходили на широкий подъезд, и тучный швейцар, читающий по утрам, для назидания прохожих, за стеклянную дверь газеты, беззвучно отворял эту огромную дверь, пропуская мимо себя приезжавших.

Почти в одно и то же время вошли: хозяйка с освеженною прической и освеженным лицом из одной двери и гости из другой в большую гостиную с темными стенами, пушистыми коврами и ярко освещенным столом, блестящим под огнями свеч белизною скатерти, серебром самовара и прозрачным фарфором чайного прибора.

Хозяйка села за самовар и сняла перчатки. Передвигая стулья и кресла с помощью незаметных лакеев, общество разместилось, разделившись на две части, – у самовара с хозяйкой и на противоположном конце гостиной – около красивой жены посланника в черном бархате и с черными резкими бровями. Разговор в обоих центрах, как и всегда в первые минуты, колебался, перебиваемый встречами, приветствиями, предложениями чая, как бы отыскивая, на чем остановиться.

– Она необыкновенно хороша как актриса; видно, что она изучала Каульбаха, – говорил дипломат в кружке жены посланника, – вы заметили, как она упала...

– Ах, пожалуйста, не будем говорить про Нильсон! Про нее нельзя ничего сказать нового, – сказала толстая, красная, без бровей и без шиньона, белокурая дама в старом шелковом платье. Это была княгиня Мягкая, известная своею простотой, грубостью обращения и прозванная *enfant terrible*²¹. Княгиня Мягкая сидела посередине между обоими кружками и, прислушиваясь, принимала участие то в том, то в другом. – Мне нынче три человека сказали эту самую фразу про Каульбаха, точно сговорились. И фраза, не знаю чем, так понравилась им.

Разговор был прерван этим замечанием, и надо было придумывать опять новую тему.

– Расскажите нам что-нибудь забавное, но не злое, – сказала жена посланника, великая мастерица изящного разговора, называемого по-английски *Smalltalk*, обращаясь к дипломату, тоже не знавшему, что теперь начать.

– Говорят, что это очень трудно, что только злое смешно, – начал он с улыбкою. – Но я попробую. Дайте тему. Все дело в теме. Если тема дана, то вышивать по ней уже легко. Я часто думаю, что знаменитые говоруны прошлого века были бы теперь в затруднении говорить умно. Все умное так надоело...

– Давно уж сказано, – смеясь, перебила его жена посланника.

Разговор начался мило, но именно потому, что он был слишком уж мил, он опять остановился. Надо было прибегнуть к верному, никогда не изменяющему средству – злословию.

– Вы не находите, что в Тушкевиче есть что-то *Louis XV*? – сказал он, указывая глазами на красивого белокурого молодого человека, стоявшего у стола.

– О да! Он в одном вкусе с гостиной, от этого он так часто и бывает здесь...

Этот разговор поддержался, так как говорилось намеками именно о том, чего нельзя было говорить в этой гостиной, то есть об отношениях Тушкевича к хозяйке.

Около самовара и хозяйки разговор между тем, точно так же поколебавшись несколько времени между тремя неизбежными темами: последнюю общественную новостью, театром и осуждением ближнего, тоже установился, попав на последнюю тему, то есть на злословие.

²¹ Озорницей (*франц.*).

– Вы слышали, и Мальтищева, – не дочь, а мать, – шьет себе костюм *diabale rose*²².

– Не может быть! Нет, это прелестно!

– Я удивляюсь, как с ее умом, – она ведь не глупа, – не видеть, как она смешна.

Каждый имел что сказать в осуждение и осмеяние несчастной Мальтищевой, и разговор весело затрещал, как разгоревшийся костер.

Муж княгини Бетси, добродушный толстяк, страстный собиратель гравюр, узнав, что у жены гости, зашел пред клубом в гостиную. Неслышно, по мягкому ковру, он подошел к княгине Мягкой.

– Как вам понравилась Нильсон, княгиня? – сказал он.

– Ах, батюшка, можно ли так подкрадываться? Как вы меня испугали, – отвечала она. – Не говорите, пожалуйста, со мной про оперу, вы ничего не понимаете в музыке. Лучше я спущусь до вас и буду говорить с вами про ваши майолики и гравюры. Ну, какое там сокровище вы купили недавно на толкучке?

– Хотите, я вам покажу? Но вы не знаете толку.

– Покажите. Я выучилась у этих, как их зовут... банкиры... у них прекрасные есть гравюры. Они нам показывали.

– Как, вы были у Шюцбург? – спросила хозяйка от самовара.

– Были, та *chère*. Они нас звали с мужем обедать, и мне сказывали, что соус на этом обеде стоил тысячу рублей, – громко говорила княгиня Мягкая, чувствуя, что все ее слушают, – и очень гадкий соус, что-то зеленое. Надо было их позвать, и я сделала соус на восемьдесят пять копеек, и все были очень довольны. Я не могу делать тысячерублевых соусов.

– Она единственна! – сказала жена посланника.

– Удивительна! – сказал кто-то.

Эффект, производимый речами княгини Мягкой, всегда был одинаков, и секрет производимого ею эффекта состоял в том, что она говорила хотя и не совсем кстати, как теперь, но простые вещи, имеющие смысл. В обществе, где она жила, такие слова производили действие самой остроумной шутки. Княгиня Мягкая не могла понять, отчего это так действовало, но знала, что это так действовало, и пользовалась этим.

Так как во время речи княгини Мягкой все ее слушали и разговор около жены посланника прекратился, хозяйка хотела связать все общество воедино и обратилась к жене посланника:

– Решительно вы не хотите чаю? Вы бы перешли к нам.

– Нет, нам очень хорошо здесь, – с улыбкой отвечала жена посланника и продолжала начатый разговор.

Разговор был очень приятный. Осуждали Карениных, жену и мужа.

– Анна очень переменилась с своей московской поездки. В ней есть что-то странное, – говорила ее приятельница.

– Перемена главная та, что она привезла с собою тень Алексея Вронского, – сказала жена посланника.

– Да что же? У Гримма есть басня: человек без тени, человек лишен тени. И это ему наказание за что-то. Я никогда не мог понять, в чем наказание. Но женщине должно быть неприятно без тени.

– Да, но женщины с тенью обыкновенно дурно кончают, – сказала приятельница Анны.

– Типун вам на язык, – сказала вдруг княгиня Мягкая, услышав эти слова. – Каренина прекрасная женщина. Мужа ее я не люблю, а ее очень люблю.

– Отчего же вы не любите мужа? Он такой замечательный человек, – сказала жена посланника. – Муж говорит, что таких государственных людей мало в Европе.

²² Крикливо-розовый (*франц.*).

– И мне то же говорит муж, но я не верю, – сказала княгиня Мягкая. – Если бы мужья наши не говорили, мы бы видели то, что есть, а Алексей Александрович, по-моему, просто глуп. Я шепотом говорю это... Не правда ли, как все ясно делается? Прежде, когда мне велели находить его умным, я все искала и находила, что я сама глупа, не видя его ума; а как только я сказала: он *глуп*, но шепотом, – все так ясно стало, не правда ли?

– Как вы злы нынче!

– Нисколько. У меня нет другого выхода. Кто-нибудь из нас двух глуп. Ну, а вы знаете, про себя нельзя этого никогда сказать.

– Никто не доволен своим состоянием, и всякий доволен своим умом, – сказал дипломат французский стих.

– Вот-вот именно, – поспешно обратилась к нему княгиня Мягкая. – Но дело в том, что Анну я вам не отдам. Она такая славная, милая. Что же ей делать, если все влюблены в нее и, как тени, ходят за ней?

– Да я и не думаю осуждать, – оправдывалась приятельница Анны.

– Если за нами никто не ходит, как тень, то это не доказывает, что мы имеем право осуждать.

И, отделив, как следовало, приятельницу Анны, княгиня Мягкая встала и вместе с женой посланника присоединилась к столу, где шел общий разговор о прусском короле.

– О чем вы там злословили? – спросила Бетси.

– О Карениных. Княгиня делала характеристику Алексея Александровича, – отвечала жена посланника, с улыбкой садясь к столу.

– Жалко, что мы не слышали, – сказала хозяйка, взглядывая на входную дверь. – А, вот и вы наконец! – обратилась она с улыбкой к входившему Вронскому.

Вронский был не только знаком со всеми, но видал каждый день всех, кого он тут встретил, и потому он вошел с теми спокойными приемами, с какими входят в комнату к людям, от которых только что вышли.

– Откуда я? – отвечал он на вопрос жены посланника. – Что же делать, надо признаться. Из Буфф. Кажется, в сотый раз, и все с новым удовольствием. Прелесть! Я знаю, что это стыдно; но в опере я сплю, а в Буффах досиживаю до последнего конца, и весело. Нынче...

Он назвал французскую актрису и хотел что-то рассказать про нее; но жена посланника с шутивым ужасом перебила его:

– Пожалуйста, не рассказывайте про этот ужас.

– Ну, не буду, тем более что все знают эти ужасы.

– И все бы поехали туда, если б это было так же принято, как опера, – подхватила княгиня Мягкая.

VII

У входной двери слышались шаги, и княгиня Бетси, зная, что это Каренина, взглянула на Вронского. Он смотрел на дверь, и лицо его имело странное новое выражение. Он радостно, пристально и вместе робко смотрел на входившую и медленно приподнимался. В гостиную входила Анна. Как всегда, держась чрезвычайно прямо, своим быстрым, твердым и легким шагом, отличавшим ее от походки других светских женщин, и не изменяя направления взгляда, она сделала те несколько шагов, которые отделяли ее от хозяйки, пожала ей руку, улыбнулась и с этою улыбкой оглянулась на Вронского. Вронский низко поклонился и подвинул ей стул.

Она отвечала только наклонением головы, покраснела и нахмурилась. Но тотчас же, быстро кивая знакомым и пожимая протягиваемые руки, она обратилась к хозяйке:

– Я была у графини Лидии и хотела раньше приехать, но засиделась. У ней был сэр Джон. Очень интересный.

– Ах, это миссионер этот?

– Да, он рассказывал про индейскую жизнь очень интересно.

Разговор, перебитый приездом, опять замотался, как огонь задуваемой лампы.

– Сэр Джон! Да, сэр Джон. Я его видела. Он хорошо говорит. Власьева совсем влюблена в него.

– А правда, что Власьева меньшая выходит за Топова?

– Да говорят, что это совсем решено.

– Я удивляюсь родителям. Говорят, это брак по страсти.

– По страсти? Какие у вас антидилювиальные мысли! Кто нынче говорит про страсти? – сказала жена посланника.

– Что делать? Эта глупая старая мода все еще не выводится, – сказал Вронский.

– Тем хуже для тех, кто держится этой моды. Я знаю счастливые браки только по рассудку.

– Да, но зато как часто счастье браков по рассудку разлетается, как пыль, именно оттого, что появляется та самая страсть, которую не признавали, – сказал Вронский.

– Но браками по рассудку мы называем те, когда уже оба перебесились. Это как скарапина, чрез это надо пройти.

– Тогда надо выучиться искусственно прививать любовь, как оспу.

– Я была в молодости влюблена в дьячка, – сказала княгиня Мягкая. – Не знаю, помогло ли мне это.

– Нет, я думаю, без шуток, что для того, чтоб узнать любовь, надо ошибиться и потом поправиться, – сказала княгиня Бетси.

– Даже после брака? – шутливо сказала жена посланника.

– Никогда не поздно раскаяться, – сказал дипломат английскую пословицу.

– Вот именно, – подхватила Бетси, – надо ошибиться и поправиться. Как вы об этом думаете? – обратилась она к Анне, которая с чуть заметною твердою улыбкой на губах молча слушала этот разговор.

– Я думаю, – сказала Анна, играя снятою перчаткой, – я думаю... если сколько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько родов любви.

Вронский смотрел на Анну и с замиранием сердца ждал, что она скажет. Он вздохнул как бы после опасности, когда она выговорила эти слова.

Анна вдруг обратилась к нему:

– А я получила письмо из Москвы. Мне пишут, что Кити Щербацкая совсем больна.

– Неужели? – нахмурившись, сказал Вронский.

Анна строго посмотрела на него.

– Вас не интересует это?

– Напротив, очень. Что именно вам пишут, если можно узнать? – спросил он.

Анна встала и подошла к Бетси.

– Дайте мне чашку чая, – сказала она, останавливаясь за ее стулом.

Пока княгиня Бетси наливала ей чай, Вронский подошел к Анне.

– Что же вам пишут? – повторил он.

– Я часто думаю, что мужчины не понимают того, что благородно и неблагородно, а всегда говорят об этом, – сказала Анна, не отвечая ему. – Я давно хотела сказать вам, – прибавила она и, перейдя несколько шагов, села у углового стола с альбомами.

– Я не совсем понимаю значение ваших слов, – сказал он, подавая ей чашку.

Она взглянула на диван подле себя, и он тотчас же сел.

– Да, я хотела сказать вам, – сказала она, не глядя на него. – Вы дурно поступили, дурно, очень дурно.

– Разве я не знаю, что я дурно поступил? Но кто причиной, что я поступил так?

– Зачем вы говорите мне это? – сказала она, строго взглядывая на него.

– Вы знаете зачем, – отвечал он смело и радостно, встречая ее взгляд и не спуская глаз. Не он, а она смутилась.

– Это доказывает только то, что у вас нет сердца, – сказала она. Но взгляд ее говорил, что она знает, что у него есть сердце, и от этого-то боится его.

– То, о чем вы сейчас говорили, была ошибка, а не любовь.

– Вы помните, что я запретила вам произносить это слово, это гадкое слово, – вздрогнув, сказала Анна; но тут же она почувствовала, что одним этим словом: запретила она показывала, что признавала за собой известные права на него и этим самым поощряла его говорить про любовь. – Я вам давно это хотела сказать, – продолжала она, решительно глядя ему в глаза и вся пылая жегшим ее лицо румянцем, – а нынче я нарочно приехала, зная, что я вас встречу. Я приехала сказать вам, что это должно кончиться. Я никогда ни пред кем не краснела, а вы заставляете меня чувствовать себя виновною в чем-то.

Он смотрел на нее и был поражен новою, духовною красотой ее лица.

– Чего вы хотите от меня? – сказал он просто и серьезно.

– Я хочу, чтобы вы поехали в Москву и просили прощенья у Кити, – сказала она, и огонек замигал в ее глазах.

– Вы не хотите этого, – сказал он.

Он видел, что она говорила то, что принуждает себя сказать, но не то, чего хочет.

– Если вы любите меня, как вы говорите, – прошептала она, – то сделайте, чтоб я была спокойна.

Лицо его просияло.

– Разве вы не знаете, что вы для меня вся жизнь; но спокойствия я не знаю и не могу вам дать. Всего себя, любовь... да. Я не могу думать о вас и о себе отдельно. Вы и я для меня одно. И я не вижу впереди возможности спокойствия ни для себя, ни для вас. Я вижу возможность отчаяния, несчастья... или я вижу возможность счастья, какого счастья!.. Разве оно невозможно? – прибавил он одними губами; но она слышала.

Она все силы ума своего напрягла на то, чтобы сказать то, что должно; но вместо того она остановила на нем свой взгляд, полный любви, и ничего не ответила.

«Вот оно! – с восторгом думал он. – Тогда, когда я уже отчаивался и когда, казалось, не будет конца, – вот оно! Она любит меня. Она признается в этом».

– Так сделайте это для меня, никогда не говорите мне этих слов, и будем добрыми друзьями, – сказала она словами; но совсем другое говорил ее взгляд.

– Друзьями мы не будем, вы это сами знаете. А будем ли мы счастливейшими или несчастнейшими из людей – это в вашей власти.

Она хотела сказать что-то, но он перебил ее.

– Ведь я прошу одного, прошу права надеяться, мучаться, как теперь; но если и этого нельзя, велите мне исчезнуть, и я исчезну. Вы не будете видеть меня, если мое присутствие тяжело вам.

– Я не хочу никуда прогонять вас.

– Только не изменяйте ничего. Оставьте все как есть, – сказал он дрожащим голосом. – Вот ваш муж.

Действительно, в эту минуту Алексей Александрович своею спокойною, неуклюжею походкой входил в гостиную.

Оглянув жену и Вронского, он подошел к хозяйке и, усевшись за чашкой чая, стал говорить своим неторопливым, всегда слышным голосом, в своем обычном шуточном тоне, подтрунивая над кем-то.

– Ваш Рамбулье в полном составе, – сказал он, оглядывая все общество, – грации и музыки.

Но княгиня Бетси терпеть не могла этого тона его, sneering²³, как она называла это, и, как умная хозяйка, тотчас же навела его на серьезный разговор об общей воинской повинности. Алексей Александрович тотчас же увлекся разговором и стал защищать уже серьезно новый указ пред княгиней Бетси, которая нападала на него.

Вронский и Анна продолжали сидеть у маленького стола.

– Это становится неприлично, – шепнула одна дама, указывая глазами на Каренину, Вронского и ее мужа.

– Что я вам говорила? – отвечала приятельница Анны.

Но не одни эти дамы, почти все бывшие в гостиной, даже княгиня Мягкая и сама Бетси, по несколько раз взглядывали на удалившихся от общего кружка, как будто это мешало им. Только один Алексей Александрович ни разу не взглянул в ту сторону и не был отвлечен от интереса начатого разговора.

Заметив производимое на всех неприятное впечатление, княгиня Бетси подсунула на свое место для слушания Алексея Александровича другое лицо и подошла к Анне.

– Я всегда удивляюсь ясности и точности выражений вашего мужа, – сказала она. – Самые трансцендентные понятия становятся мне доступны, когда он говорит.

– О да! – сказала Анна, сияя улыбкой счастья и не понимая ни одного слова из того, что говорила ей Бетси. Она перешла к большому столу и приняла участие в общем разговоре.

Алексей Александрович, просидев полчаса, подошел к жене и предложил ей ехать вместе домой; но она, не глядя на него, отвечала, что останется ужинать. Алексей Александрович раскланялся и вышел.

Старый, толстый татарин, кучер Карениной, в глянцевого кожана, с трудом удерживал левого прозябшего серого, взвивавшегося у подъезда. Лакей стоял, отворив дверцу. Швейцар стоял, держа наружную дверь. Анна Аркадьевна отцепляла маленькою быстрою рукой кружева рукава от крючка шубки и, нагнувши голову, слушала с восхищением, что говорил, провожая ее, Вронский.

– Вы ничего не сказали; положим, я ничего не требую, – говорил он, – но вы знаете, что не дружба мне нужна, мне возможно одно счастье в жизни, это слово, которого вы так не любите... да, любовь...

– Любовь... – повторила она медленно, внутренним голосом, и вдруг, в то же время, как она отцепила кружево, прибавила: – Я оттого и не люблю этого слова, что оно для меня слишком много значит, больше гораздо, чем вы можете понять, – и она взглянула ему в лицо. – До свиданья!

Она подала руку и быстрым, упругим шагом прошла мимо швейцара и скрылась в карете.

²³ Насмешливого (англ.).

Ее взгляд, прикосновение руки прожгли его. Он поцеловал свою ладонь в том месте, где она тронула его, и поехал домой, счастливый сознанием того, что в нынешний вечер он приблизился к достижению своей цели более, чем в два последние месяца.

VIII

Алексей Александрович ничего особенного и неприличного не нашел в том, что жена его сидела с Вронским у особого стола и о чем-то оживленно разговаривала; но он заметил, что другим в гостиной это показалось чем-то особенным и неприличным, и потому это показалось неприличным и ему. Он решил, что нужно сказать об этом жене.

Вернувшись домой, Алексей Александрович прошел к себе в кабинет, как он это делал обыкновенно, и сел в кресло, развернув на заложенном разрезным ножом месте книгу о папизме, и читал до часу, как обыкновенно делал; только изредка он потирал себе высокий лоб и встряхивал голову, как бы отгоняя что-то. В обычный час он встал и сделал свой ночной туалет. Анны Аркадьевны еще не было. С книгой под мышкой он пришел наверх; но в нынешний вечер, вместо обычных мыслей и соображений о служебных делах, мысли его были наполнены женою и чем-то неприятным, случившимся с нею. Он, противно своей привычке, не лег в постель, а, заложив за спину сцепившиеся руки, принялся ходить взад и вперед по комнатам. Он не мог лечь, чувствуя, что ему прежде необходимо обдумать вновь возникшее обстоятельство.

Когда Алексей Александрович решил сам с собою, что нужно переговорить с женою, ему казалось это очень легко и просто; но теперь, когда он стал обдумывать это вновь возникшее обстоятельство, оно показалось ему очень сложным и затруднительным.

Алексей Александрович был не ревнив. Ревность, по его убеждению, оскорбляет жену, и к жене должно иметь доверие. Почему должно иметь доверие, то есть полную уверенность в том, что его молодая жена всегда будет его любить, он себя не спрашивал; но он не испытывал недоверия, потому имел доверие и говорил себе, что надо его иметь. Теперь же, хотя убеждение его о том, что ревность есть постыдное чувство и что нужно иметь доверие, и не было разрушено, он чувствовал, что стоит лицом к лицу пред чем-то нелогичным и бестолковым, и не знал, что надо делать. Алексей Александрович стоял лицом к лицу пред жизнью, пред возможностью любви в его жене к кому-нибудь, кроме его, и это-то казалось ему очень бестолковым и непонятным, потому что это была сама жизнь. Всю жизнь свою Алексей Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражениями жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся от нее. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту и вдруг увидавший, что этот мост разобран и что там пучина. Пучина эта была – сама жизнь, мост – та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович. Ему в первый раз пришли вопросы о возможности для его жены полюбить кого-нибудь, и он ужаснулся пред этим.

Он, не раздеваясь, ходил своим ровным шагом взад и вперед по звучному паркету освещенной одною лампой столовой, по ковру темной гостиной, в которой свет отражался только на большом, недавно сделанном портрете его, висевшем над диваном, и чрез ее кабинет, где горели две свечи, освещающие портреты ее родных и приятельниц и красивые, давно близко знакомые ему безделушки ее письменного стола. Чрез ее комнату он доходил до двери спальни и опять поворачивался.

На каждом протяжении своей прогулки, и большею частью на паркете светлой столовой, он останавливался и говорил себе: «Да, это необходимо решить и прекратить, высказать свой взгляд на это и свое решение». И он поворачивался назад. «Но высказать что же? какое решение?» – говорил он себе в гостиной и не находил ответа. «Да наконец, – спрашивал он себя пред поворотом в кабинет, – что же случилось? Ничего. Она долго говорила с ним. Ну что же? Мало ли женщина в свете с кем может говорить? И потом, ревновать – значит унижать и себя и ее», – говорил он себе, входя в ее кабинет; но рассуждение это, прежде имевшее такой вес для него, теперь ничего не весило и не значило. И он от двери спальни поворачивался опять

к зале; но, как только он входил назад в темную гостиную, ему какой-то голос говорил, что это не так и что если другие заметили это, то значит, что есть что-нибудь. И он опять говорил себе в столовой: «Да, это необходимо решить и прекратить и высказать свой взгляд...» И опять в гостиной пред поворотом он спрашивал себя: как решить? И потом спрашивал себя, что случилось? И отвечал: ничего, и вспоминал о том, что ревность есть чувство, унижающее жену, но опять в гостиной убеждался, что случилось что-то. Мысли его, как и тело, совершали полный круг, не нападая ни на что новое. Он заметил это, потер себе лоб и сел в ее кабинете.

Тут, глядя на ее стол с лежащим наверху малахитовым бюваром и начатою запиской, мысли его вдруг изменились. Он стал думать о ней, о том, что она думает и чувствует. Он впервые живо представил себе ее личную жизнь, ее мысли, ее желания, и мысль, что у нее может и должна быть своя особенная жизнь, показалась ему так страшна, что он поспешил отогнать ее. Это была та пучина, куда ему страшно было заглянуть. Переноситься мыслью и чувством в другое существо было душевное действие, чуждое Алексею Александровичу. Он считал это душевное действие вредным и опасным фантазерством.

«И ужаснее всего то, – думал он, – что теперь именно, когда подходит к концу мое дело (он думал о проекте, который он проводил теперь), когда мне нужно все спокойствие и все силы души, теперь на меня сваливается эта бессмысленная тревога. Но что же делать? Я не из таких людей, которые переносят беспокойство и тревоги и не имеют силы взглянуть им в лицо».

– Я должен обдумать, решить и отбросить, – проговорил он вслух.

«Вопросы о ее чувствах, о том, что делалось и может делаться в ее душе, это не мое дело, это дело ее совести и подлежит религии», – сказал он себе, чувствуя облегчение при сознании, что найден тот пункт узаконений, которому подлежало возникшее обстоятельство.

«Итак, – сказал себе Алексей Александрович, – вопросы о ее чувствах и так далее – суть вопросы ее совести, до которой мне не может быть дела. Моя же обязанность ясно определяется. Как глава семьи, я лицо, обязанное руководить ею, и потому отчасти лицо ответственное: я должен указать опасность, которую я вижу, предостеречь и даже употребить власть. Я должен ей высказать».

И в голове Алексея Александровича сложилось ясно все, что он теперь скажет жене. Обдумывая, что он скажет, он пожалел о том, что для домашнего употребления, так незаметно, он должен употребить свое время и силы ума; но, несмотря на то, в голове его ясно и отчетливо, как доклад, составила форма и последовательность предстоящей речи. «Я должен сказать и высказать следующее: во-первых, объяснение значения общественного мнения и приличия; во-вторых, религиозное объяснение значения брака; в-третьих, если нужно, указание на могущее произойти несчастье для сына; в-четвертых, указание на ее собственное несчастье». И, заложив пальцы за пальцы, ладонями книзу, Алексей Александрович потянул, и пальцы затрещали в суставах.

Этот жест, дурная привычка – соединение рук и трещанье пальцев – всегда успокаивал его и приводил в аккуратность, которая теперь так нужна была ему.

У подъезда послышался звук подъехавшей кареты. Алексей Александрович остановился посреди залы.

На лестницу всходили женские шаги. Алексей Александрович, готовый к своей речи, стоял, пожимая свои скрещенные пальцы и ожидая, не треснет ли еще где. Один сустав треснул.

Еще по звуку легких шагов на лестнице он почувствовал ее приближение, и, хотя он был доволен своею речью, ему стало страшно за предстоящее объяснение...

IX

Анна шла, опустив голову и играя кистями башлыка. Лицо ее блестело ярким блеском; но блеск этот был не веселый – он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи. Увидав мужа, Анна подняла голову и, как будто просыпаясь, улыбнулась.

– Ты не в постели? Вот чудо! – сказала она, скинула башлык и, не останавливаясь, пошла дальше, в уборную. – Пора, Алексей Александрович, – проговорила она из-за двери.

– Анна, мне нужно поговорить с тобой.

– Со мной? – сказала она удивленно, вышла из двери и посмотрела на него.

– Да.

– Что же это такое? О чем это? – спросила она, садясь. – Ну, давай переговорим, если так нужно. А лучше бы спать.

Анна говорила, что приходило ей на уста, и сама удивлялась, слушая себя, своей способности лжи. Как просто, естественны были ее слова и как похоже было, что ей просто хочется спать! Она чувствовала себя одетою в непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей и поддерживала ее.

– Анна, я должен предостеречь тебя, – сказал он.

– Предостеречь? – сказала она. – В чем?

Она смотрела так просто, так весело, что кто не знал ее, как знал муж, не мог бы заметить ничего неестественного ни в звуках, ни в смысле ее слов. Но для него, знавшего ее, знавшего, что, когда он ложился пятью минутами позже, она замечала и спрашивала о причине, для него, знавшего, что всякую свою радость, веселье, горе она тотчас сообщала ему, – для него теперь видеть, что она не хотела замечать его состояния, что не хотела ни слова сказать о себе, означало многое. Он видел, что та глубина ее души, всегда прежде открытая пред ним, была закрыта от него. Мало того, по тону ее он видел, что она и не смущалась этим, а прямо как бы говорила ему: да, закрыта, и это так должно быть и будет вперед. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, возвратившийся домой и находящий дом свой запертым. «Но, может быть, ключ еще найдется», – думал Алексей Александрович.

– Я хочу предостеречь тебя в том, – сказал он тихим голосом, – что по неосмотрительности и легкомыслию ты можешь подать в свете повод говорить о тебе. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским (он твердо и с спокойною расстановкой выговорил это имя) обратил на себя внимание.

Он говорил и смотрел на ее смеющиеся, страшные теперь для него своею непроницаемостью глаза и, говоря, чувствовал всю бесполезность и праздность своих слов.

– Ты всегда так, – отвечала она, как будто совершенно не понимая его и изо всего того, что он сказал, умышленно понимая только последнее. – То тебе неприятно, что я скучна, то тебе неприятно, что я весела. Мне не скучно было. Это тебя оскорбляет?

Алексей Александрович вздрогнул и загнул руки, чтобы трещать ими.

– Ах, пожалуйста, не трещи, я так не люблю, – сказала она.

– Анна, ты ли это? – сказал Алексей Александрович тихо, сделав усилие над собою и удержав движение рук.

– Да что же это такое? – сказала она с таким искренним и комическим удивлением. – Что тебе от меня надо?

Алексей Александрович помолчал и потер рукою лоб и глаза. Он увидел, что вместо того, что он хотел сделать, то есть предостеречь свою жену от ошибки в глазах света, он волновался невольно о том, что касалось ее совести, и боролся с воображаемою им какою-то стеной.

– Я вот что намерен сказать, – продолжал он холодно и спокойно, – и я прошу тебя выслушать меня.

Я признаю, как ты знаешь, ревность чувством оскорбительным и унижительным и никогда не позволю себе руководиться этим чувством; но есть известные законы приличия, которые нельзя преступать безнаказанно. Нынче не я заметил, но, судя по впечатлению, какое было произведено на общество, все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так, как можно было желать.

– Решительно ничего не понимаю, – сказала Анна, пожимая плечами. «Ему все равно, – подумала она. – Но в обществе заметили, и это тревожит его». – Ты нездоров, Алексей Александрович, – прибавила она, встала и хотела уйти в дверь; но он двинулся вперед, как бы желая остановить ее.

Лицо его было некрасиво и мрачно, каким никогда не видала его Анна. Она остановилась и, отклонив голову назад, набок, начала своею быстрою рукой выбирать шпильки.

– Ну-с, я слушаю, что будет, – проговорила она спокойно и насмешливо. – И даже с интересом слушаю, потому что желала бы понять, в чем дело.

Она говорила и удивлялась тому натурально-спокойному верному тону, которым она говорила, и выбору слов, которые она употребляла.

– Входить во все подробности твоих чувств я не имею права и вообще считаю это бесполезным и даже вредным, – начал Алексей Александрович. – Копаясь в своей душе, мы часто выкапываем такое, что там лежало бы незаметно. Твои чувства – это дело твоей совести; но я обязан пред тобою, пред собой, пред Богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связана, и связана не людьми, а Богом. Разорвать эту связь может только преступление, и преступление этого рода влечет за собой тяжелую кару.

– Ничего не понимаю. Ах, боже мой, и как мне на беду спать хочется! – сказала она, быстро перебирая рукой волосы и отыскивая оставшиеся шпильки.

– Анна, ради бога, не говори так, – сказал он кротко. – Может быть, я ошибаюсь, но поверь, что то, что я говорю, я говорю столько же за себя, как и за тебя. Я муж твой и люблю тебя.

На мгновение лицо ее опустилось, и потухла насмешливая искра во взгляде; но слово «люблю» опять возмутило ее. Она подумала: «Любит? Разве он может любить? Если б он не слышал, что бывает любовь, он никогда и не употреблял бы этого слова. Он и не знает, что такое любовь».

– Алексей Александрович, право, я не понимаю, – сказала она. – Определи, что ты находишь...

– Позволь, дай договорить мне. Я люблю тебя. Но я говорю не о себе; главные лица тут – наш сын и ты сама. Очень может быть, повторяю, тебе покажутся совершенно напрасными и неуместными мои слова; может быть, они вызваны моим заблуждением. В таком случае я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малейшие основания, то я тебя прошу подумать и, если сердце тебе говорит, высказать мне...

Алексей Александрович, сам не замечая того, говорил совершенно не то, что приготовил.

– Мне нечего говорить. Да и... – вдруг быстро сказала она, с трудом удерживая улыбку, – право, пора спать.

Алексей Александрович вздохнул и, не сказав больше ничего, отправился в спальню.

Когда она вошла в спальню, он уже лежал. Губы его были строго сжаты, и глаза не смотрели на нее. Анна легла на свою постель и ждала каждую минуту, что он еще раз заговорит с нею. Она и боялась того, что он заговорит, и ей хотелось этого. Но он молчал. Она долго ждала неподвижно и уже забыла о нем. Она думала о другом, она видела его и чувствовала, как ее сердце при этой мысли наполнялось волнением и преступною радостью. Вдруг она услышала ровный и спокойный носовой свист. В первую минуту Алексей Александрович как будто испугался своего свиста и остановился; но, переждав два дыхания, свист раздался с новою, спокойною ровностью.

– Поздно, поздно, уж поздно, – прошептала она с улыбкой. Она долго лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых, ей казалось, она сама в темноте видела.

Х

С этого вечера началась новая жизнь для Алексея Александровича и для его жены. Ничего особенного не случилось. Анна, как всегда, ездила в свет, особенно часто бывала у княгини Бетси и встречалась везде с Вронским. Алексей Александрович видел это, но ничего не мог сделать. На все попытки его вызвать ее на объяснение она противопоставляла ему непроницаемую стену какого-то веселого недоумения. Снаружи было то же, но внутренние отношения их совершенно изменились. Алексей Александрович, столь сильный человек в государственной деятельности, тут чувствовал себя бессильным. Как бык, покорно опустив голову, он ждал обуха, который, он чувствовал, был над ним поднят. Каждый раз, как он начинал думать об этом, он чувствовал, что нужно попытаться еще раз, что добротой, нежностью, убеждением еще есть надежда спасти ее, заставить опомниться, и он каждый день собирался говорить с ней. Но каждый раз, как он начинал говорить с ней, он чувствовал, что тот дух зла и обмана, который владел ею, овладевал и им, и он говорил с ней совсем не то и не тем тоном, каким хотел говорить. Он говорил с ней невольно своим привычным тоном подшучиванья над тем, кто бы так говорил. А в этом тоне нельзя было сказать того, что требовалось сказать ей.

...

XI

То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желание его жизни, заменившее ему все прежние желания; то, что для Анны было невозможною, ужасною и тем более обворожительною мечтою счастья, — это желание было удовлетворено. Бледный, с дрожащею нижнею челюстью, он стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная, в чем и чем.

— Анна! Анна! — говорил он дрожащим голосом. — Анна, ради бога!..

Но чем громче он говорил, тем ниже она опускала свою когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову, и она вся сгибалась и падала с дивана, на котором сидела, на пол, к его ногам; она упала бы на ковер, если б он не держал ее.

— Боже мой! Прости меня! — всхлипывая, говорила она, прижимая к своей груди его руки.

Она чувствовала себя столь преступною и виноватою, что ей оставалось только унижаться и просить прощения; а в жизни теперь, кроме его, у ней никого не было, так что она и к нему обращала свою мольбу о прощении. Она, глядя на него, физически чувствовала свое унижение и ничего больше не могла говорить. Он же чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. Это тело, лишенное им жизни, была их любовь, первый период их любви. Было что-то ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том, за что было заплачено этою страшною ценою стыда. Стыд пред духовною наготою своей давил ее и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужас убийцы пред телом убитого, надо резать на куски, прятать это тело, надо пользоваться тем, что убийца приобрел убийством.

И с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это тело, и тащит, и режет его; так и он покрывал поцелуями ее лицо и плечи. Она держала его руку и не шевелилась. Да, эти поцелуи — то, что куплено этим стыдом. Да, и эта одна рука, которая будет всегда моею, — рука моего сообщника. Она подняла эту руку и поцеловала ее. Он опустился на колена и хотел видеть ее лицо; но она прятала его и ничего не говорила. Наконец, как бы сделав усилие над собой, она поднялась и оттолкнула его. Лицо ее было все так же красиво, но тем более было оно жалко.

— Все кончено, — сказала она. — У меня ничего нет, кроме тебя. Помни это.

— Я не могу не помнить того, что есть моя жизнь. За минуту этого счастья...

— Какое счастье! — с отвращением и ужасом сказала она, и ужас невольно сообщился ему. — Ради бога, ни слова, ни слова больше.

Она быстро встала и отстранилась от него.

— Ни слова больше, — повторила она, и с странным для него выражением холодного отчаяния на лице она рассталась с ним. Она чувствовала, что в эту минуту не могла выразить словами того чувства стыда, радости и ужаса пред этим вступлением в новую жизнь и не хотела говорить об этом, опошливать это чувство неточными словами. Но и после, ни на другой, ни на третий день, она не только не нашла слов, которыми бы она могла выразить всю сложность этих чувств, но не находила и мыслей, которыми бы она сама с собой могла обдумать все, что было в ее душе.

Она говорила себе: «Нет, теперь я не могу об этом думать; после, когда я буду спокойнее». Но это спокойствие для мыслей никогда не наступало; каждый раз, как являлась ей мысль о том, что она сделала, и что с ней будет, и что она должна сделать, на нее находил ужас и она отгоняла от себя эти мысли.

— После, после, — говорила она, — когда я буду спокойнее.

Зато во сне, когда она не имела власти над своими мыслями, ее положение представлялось ей во всей безобразной наготе своей. Одно сновиденье почти каждую ночь посещало ее. Ей снилось, что оба вместе были ее мужья, что оба расточали ей свои ласки. Алексей Александрович плакал, целуя ее руки, и говорил: как хорошо теперь! И Алексей Вронский был тут

же, и он был также ее муж. И она, удивляясь тому, что прежде ей казалось это невозможным, объясняла им, смеясь, что это гораздо проще и что они оба теперь довольны и счастливы. Но это сновидение, как кошмар, давило ее, и она просыпалась с ужасом.

XII

Еще в первое время по возвращении из Москвы, когда Левин каждый раз вздрагивал и краснел, вспоминая позор отказа, он говорил себе: «Так же краснел и вздрагивал я, считая все погибшим, когда получил единицу за физику и остался на втором курсе; так же считал себя погибшим после того, как испортил порученное мне дело сестры. И что ж? Теперь, когда прошли года, я вспоминаю и удивляюсь, как это могло огорчать меня. То же будет и с этим горем. Пройдет время, и я буду к этому равнодушен».

Но прошло три месяца, и он не стал к этому равнодушен, и ему так же, как и в первые дни, было больно вспоминать об этом. Он не мог успокоиться, потому что он, так долго мечтавший о семейной жизни, так чувствовавший себя созревшим для нее, все-таки не был женат и был дальше, чем когда-нибудь, от женитьбы. Он болезненно чувствовал сам, как чувствовали все его окружающие, что нехорошо в его года человеку одному быть. Он помнил, как он пред отъездом в Москву сказал раз своему скотнику Николаю, наивному мужику, с которым он любил поговорить: «Что, Николай! хочу жениться», – и как Николай поспешно отвечал, как о деле, в котором не может быть никакого сомнения: «И давно пора, Константин Дмитрич». Но женитьба теперь стала от него дальше, чем когда-либо. Место было занято, и, когда он теперь в воображении ставил на это место кого-нибудь из своих знакомых девушек, он чувствовал, что это было совершенно невозможно. Кроме того, воспоминание об отказе и о роли, которую он играл при этом, мучало его стыдом. Сколько он ни говорил себе, что он тут ни в чем не виноват, воспоминание это, наравне с другими такого же рода стыдными воспоминаниями, заставляло его вздрагивать и краснеть. Были в его прошедшем, как у всякого человека, сознанные им дурные поступки, за которые совесть должна была бы мучать его; но воспоминание о дурных поступках далеко не так мучало его, как эти ничтожные, но стыдные воспоминания. Эти раны никогда не затягивались. И наравне с этими воспоминаниями стояли теперь отказ и то жалкое положение, в котором он должен был представляться другим в этот вечер. Но время и работа делали свое. Тяжелые воспоминания более и более застилались для него невидными, но значительными событиями деревенской жизни. С каждою неделей он все реже вспоминал о Кити. Он ждал с нетерпением известия, что она уже вышла или выходит на днях замуж, надеясь, что такое известие, как выдергиванье зуба, совсем вылечит его.

Между тем пришла весна, прекрасная, дружная, без ожидания и обманов весны, одна из тех редких весен, которым вместе радуются растения, животные и люди. Эта прекрасная весна еще более возбудила Левина и утвердила его в намерении отречься от всего прежнего, с тем чтоб устроить твердо и независимо свою одинокую жизнь. Хотя многое из тех планов, с которыми он вернулся в деревню, и не было им исполнено, однако самое главное, чистота жизни была соблюдена им. Он не испытывал того стыда, который обыкновенно мучал его после падения, и он мог смело смотреть в глаза людям. Еще в феврале он получил письмо от Марьи Николаевны о том, что здоровье брата Николая становится хуже, но что он не хочет лечиться, и вследствие этого письма Левин ездил в Москву к брату и успел уговорить его посоветоваться с доктором и ехать на воды за границу. Ему так хорошо удалось уговорить брата и дать ему займы денег на поездку, не раздражая его, что в этом отношении он был собой доволен. Кроме хозяйства, требовавшего особенного внимания весною, кроме чтения, Левин начал этою зимой еще сочинение о хозяйстве, план которого состоял в том, чтобы характер рабочего в хозяйстве был принимаем за абсолютное данное, как климат и почва, и чтобы, следовательно, все положения науки о хозяйстве выводились не из одних данных почвы и климата, но из данных почвы, климата и известного неизменного характера рабочего. Так что, несмотря на уединение или вследствие уединения, жизнь его была чрезвычайно наполнена, и только изредка он испытывал неудовлетворенное желание сообщения бродящих у него в голове мыслей кому-нибудь,

кроме Агафьи Михайловны, хотя и с нею ему случалось нередко рассуждать о физике, теории хозяйства и в особенности о философии; философия составляла любимый предмет Агафьи Михайловны.

Весна долго не открывалась. Последние недели поста стояла ясная, морозная погода. Днем таяло на солнце, а ночью доходило до семи градусов; наст был такой, что на возах ездили без дороги. Пасха была на снегу. Потом вдруг, на второй день святой, понесло теплым ветром, надвинулись тучи, и три дня и три ночи лил бурный и теплый дождь. В четверг ветер затих, и надвинулся густой серый туман, как бы скрывая тайны совершавшихся в природе перемен. В тумане полились воды, затрещали и сдвинулись льдины, быстрее двинулись мутные, вспенившиеся потоки, и на самую Красную Горку, с вечера, разорвался туман, тучи разбежались барашками, прояснело, и открылась настоящая весна. Наутро поднявшееся яркое солнце быстро съело тонкий ледок, подернувший воды, и весь теплый воздух задрожал от наполнивших его испарений ожившей земли. Зазеленела старая и вылезающая иглами молодая трава, надулись почки калины, смородины и липкой спиртовой березы, и на обсыпанной золотым цветом лозине загудела выставленная облетававшая пчела. Залились невидимые жаворонки над бархатом зеленей и обледеневшим жнивьем, заплакали чибисы над налившимися бурю неубравшеюся водой низами и болотами, и высоко пролетели с весенним гоготаньем журавли и гуси. Заревела на выгонах облезшая, только местами еще не перелинявшая скотина, заиграли кривоногие ягнята вокруг теряющих волну блеющих матерей, побежали быстроногие ребята по просыхающим, с отпечатками босых ног тропинкам, затрещали на пруду веселые голоса баб с холстами, и застучали по дворам топоры мужиков, налаживающих сохи и бороны. Пришла настоящая весна.

ХІІІ

Левин надел большие сапоги и в первый раз не шубу, а суконную поддевку, и пошел по хозяйству, шагая через ручьи, режущие глаза своим блеском на солнце, ступая то на ледок, то в липкую грязь.

Весна – время планов и предположений. И, выйдя на двор, Левин, как дерево весною, еще не знающее, куда и как разрастутся эти молодые побеги и ветви, заключенные в налитых почках, сам не знал хорошенько, за какие предприятия в любимом его хозяйстве он примется теперь, но чувствовал, что он полон планов и предположений самых хороших. Прежде всего он прошел к скотине. Коровы были выпущены на варок и, сияя перелинявшею гладкою шерстью, пригревшись на солнце, мычали, просясь в поле. Полюбовавшись знакомыми ему до малейших подробностей коровами, Левин велел выгнать их в поле, а на варок выпустить телят. Пастух весело побежал собираться в поле. Бабы-скотницы, подбирая поневы, босыми, еще белыми, не загоревшими ногами шлепая по грязи, с хворостинами бегали за мычавшими, ошалевшими от весенней радости телятами, загоняя их на двор.

Полюбовавшись на приплод нынешнего года, который был необыкновенно хорош, – ранние телята были с мужицкую корову, Павина дочь, трех месяцев, была ростом с годовых, – Левин велел вынести им наружу корыто и задать сено за решетки. Но оказалось, что на не употребляемом зимой варке сделанные с осени решетки были поломаны. Он послал за плотником, который по наряду должен был работать молотилку. Но оказалось, что плотник чинил бороны, которые должны были быть починены еще с Масленицы. Это было очень досадно Левину. Досадно было, что повторялось это печное неряшество хозяйства, против которого он столько лет боролся всеми своими силами. Решетки, как он узнал, ненужные зимой, были перенесены в рабочую конюшню и там поломаны, так как они и были сделаны легко, для телят. Кроме того, из этого же оказывалось, что бороны и все земледельческие орудия, которые велено было осмотреть и починить еще зимой и для которых нарочно взяты были три плотника, были непочинены, и бороны все-таки чинили, когда надо было ехать скородить. Левин послал за приказчиком, но тотчас и сам пошел отыскивать его. Приказчик, сияя так же, как и всё в этот день, в обшитом мерлушкой тулупчике шел с гумна, ломая в руках соломинку.

– Отчего плотник не на молотилке?

– Да я хотел вчера доложить: бороны починить надо. Ведь вот пахать.

– Да зимой-то что ж?

– Да вам насчет чего угодно плотника?

– Где решетки с телячьего двора?

– Приказал снести на места. Что прикажете с этим народом! – сказал приказчик, махая рукой.

– Не с этим народом, а с этим приказчиком! – сказал Левин, вспыхнув. – Ну для чего я вас держу! – закричал он. Но, вспомнив, что этим не поможешь, остановился на половине речи и только вздохнул. – Ну что, сеять можно? – спросил он, помолчав.

– За Туркиным завтра или послезавтра можно будет.

– А клевер?

– Послал Василия с Мишкой, засевают. Не знаю только, пролезут ли, топко.

– На сколько десятин?

– На шесть.

– Отчего же не все! – вскрикнул Левин.

Что клевер сеяли только на шесть, а не на двадцать десятин, это было еще досаднее. Посев клевера, и по теории и по собственному его опыту, бывал только тогда хорош, когда сделан как можно раньше, почти по снегу. И никогда Левин не мог добиться этого.

– Народу нет. Что прикажете с этим народцем делать? Трое не приходили, вот и Семен.

– Ну, вы бы отставили от соломы.

– Да я и то отставил.

– Где же народ?

– Пятеро компот делают (это значило компост). Четверо овес пересыпают; как бы не тронулся, Константин Дмитрич.

Левин очень хорошо знал, что «как бы не тронулся» значило, что семенной английский овес уже испортили, – опять не сделали того, что он приказывал.

– Да ведь я говорил еще постом, трубы!.. – вскрикнул он.

– Не беспокойтесь, все сделаем вовремя.

Левин сердито махнул рукой, пошел к амбарам взглянуть овес и вернулся к конюшне. Овес еще не испортился. Но рабочие пересыпали его лопатами, тогда как можно было спустить его прямо в нижний амбар, и, распорядившись этим и оторвав отсюда двух рабочих для посева клевера, Левин успокоился от досады на приказчика. Да и день был так хорош, что нельзя было сердиться.

– Игнат! – крикнул он кучеру, который с засученными рукавами у колодца обмывал коляску. – Оседлай мне...

– Кого прикажете?

– Ну, хоть Колпика.

– Слушаю-с.

Пока седлали лошадей, Левин опять подозвал вертевшегося на виду приказчика, чтобы помириться с ним, и стал говорить ему о предстоящих весенних работах и хозяйственных планах.

Возку навоза начать раньше, чтобы до раннего покоса все кончено было. А плугами пахать без отрыву дальше поле, так, чтобы продержат его черным паром. Покосы все убрать не исполу, а работниками.

Приказчик слушал внимательно и, видимо, делал усилия, чтобы одобрять предположения хозяина; но он все-таки имел столь знакомый Левину и всегда раздражающий его безнадежный и унылый вид. Вид этот говорил: все это хорошо, да как Бог даст.

Ничто так не огорчало Левина, как этот тон. Но такой тон был общий у всех приказчиков, сколько их у него ни перебывало. У всех было то же отношение к его предположениям, и потому он теперь уже не сердился, но огорчился и чувствовал себя еще более возбужденным для борьбы с этою какою-то стихийною силой, которую он иначе не умел назвать, как «что Бог даст», и которая постоянно противопоставлялась ему.

– Как успеем, Константин Дмитрич, – сказал приказчик.

– Отчего же не успеете?

– Рабочих надо непременно нанять еще человек пятнадцать. Вот не приходят. Нынче были, по семидесяти рублей на лето просят.

Левин замолчал. Опять противопоставлялась эта сила. Он знал, что, сколько они ни пытались, они не могли нанять больше сорока, тридцати семи, тридцати восьми рабочих за настоящую цену; сорок нанимались, а больше нет. Но все-таки он не мог не бороться.

– Пошлите в Суры, в Чефировку, если не придут. Надо искать.

– Послать пошлю, – уныло сказал Василий Федорович. – Да вот и лошади слабы стали.

– Прикупим. Да ведь я знаю, – прибавил он, смеясь, – вы все поменьше да похуже; но я нынешний год уж не дам вам по-своему делать. Все буду сам.

– Да вы и то, кажется, мало спите. Нам веселей, как у хозяина на глазах...

– Так за Березовым Долем засевают клевер? Поеду посмотрю, – сказал он, садясь на маленького буланого Колпика, подведенного кучером.

– Через ручей не проедете, Константин Дмитрич, – крикнул кучер.

– Ну, так лесом.

И бойкою иноходью доброй застоявшейся лошадки, похрапывающей над лужами и попрашивающей поводья, Левин поехал по грязи двора за ворота и в поле.

Если Левину весело было на скотном и житном дворах, то ему еще стало веселее в поле. Мерно покачиваясь на иноходи доброго конька, впитывая теплый со свежестью запах снега и воздуха при проезде через лес по оставшемуся кое-где праховому, осовывавшемуся снегу с расплывшимися следами, он радовался на каждое свое дерево с оживавшим на коре его мохом и с напухшими почками. Когда он выехал за лес, пред ним на огромном пространстве раскинулись ровным бархатным ковром зелены, без одной плешины и вымочки, только кое-где в лощинах запятнанные остатками тающего снега. Его не рассердили ни вид крестьянской лошади и стригуна, топтавших его зелены (он велел согнать их встретившемуся мужику), ни насмешливый и глупый ответ мужика Ипата, которого он встретил и спросил: «Что, Ипат, скоро сеять?» – «Надо прежде вспахать, Константин Дмитрич», – отвечал Ипат. Чем дальше он ехал, тем веселее ему становилось, и хозяйственные планы один лучше другого представлялись ему: обсадить все поля лозинами по полуденным линиям, так чтобы не залеживался снег под ними; перерезать на шесть полей навозных и три запасных с травосеянием, выстроить скотный двор на дальнем конце поля и вырыть пруд, а для удобрения устроить переносные загороды для скота. И тогда триста десятин пшеницы, сто картофеля и сто пятьдесят клевера и ни одной истощенной десятины.

С такими мечтами, осторожно поворачивая лошадь межами, чтобы не топтать свои зелены, он подъехал к работникам, рассевавшим клевер. Телега с семенами стояла не на рубеже, а на пашне, и пшеничная озимь была изрыта колесами и ископана лошады. Оба работника сидели на меже, вероятно раскуривая общую трубку. Земля в телеге, с которой смешаны были семена, была не размята, а слежалась или смерзлась комьями. Увидав хозяина, Василий-работник пошел к телеге, а Мишка принялся рассеивать. Это было нехорошо, но на рабочих Левин редко сердился. Когда Василий подошел, Левин велел ему отвезти лошадь на рубеж.

– Ничего, сударь, затянет, – отвечал Василий.

– Пожалуйста, не рассуждай, – сказал Левин, – а делай, что говорят.

– Слушаю-с, – ответил Василий и взялся за голову лошади. – А уж сев, Константин Дмитрич, – сказал он, заискивая, – первый сорт. Только ходить страсть! По пудовику на лапте волочишь.

– А отчего у вас земля непросеянная? – сказал Левин.

– Да мы разминаем, – отвечал Василий, набирая семян и в ладонях растирая землю.

Василий не был виноват, что ему насыпали непросеянной земли, но все-таки было досадно.

Уже не раз испытал с пользой известное ему средство заглушать свою досаду и все, кажущееся дурным, сделать опять хорошим, Левин и теперь употребил это средство. Он посмотрел, как шагал Мишка, ворочая огромные комья земли, налипавшей на каждой ноге, слез с лошади, взял у Василья севалку и пошел рассеивать.

– Где ты остановился?

Василий указал на метку ногой, и Левин пошел, как умел, высевать землю с семенами. Ходить было трудно, как по болоту, и Левин, пройдя леху, запотел и, остановившись, отдал севалку.

– Ну, барин, на лето чур меня не ругать за эту леху, – сказал Василий.

– А что? – весело сказал Левин, чувствуя уже действительность употребленного средства.

– Да вот посмотрите на лето. Отличится. Вы гляньте-ка, где я сеял прошлую весну. Как рассадил! Ведь я, Константин Дмитрич, кажется, вот как отцу родному стараюсь. Я и сам не люблю дурно делать и другим не велю. Хозяину хорошо, и нам хорошо. Как глянешь вон, – сказал Василий, указывая на поле, – сердце радуется.

– А хороша весна, Василий.

– Да уж такая весна, старики не запомнят. Я вот дома был, там у нас старик тоже пшеницы три осминника посеял. Так сказывает, ото ржей не отличишь.

– А вы давно стали сеять пшеницу?

– Да вы ж научили позалетошный год; вы же мне две меры пожертвовали. Четверть продали да три осминника посеяли.

– Ну, смотри же, растирай комья-то, – сказал Левин, подходя к лошади, – да за Мишкой смотри. А хороший будет всход, тебе по пятидесяти копеек за десятину.

– Благодарим покорно. Мы вами, кажется, и так много довольны.

Левин сел на лошадь и поехал на поле, где был прошлогодний клевер, и на то, которое плугом было приготовлено под яровую пшеницу.

Всход клевера по жнивью был чудесный. Он уж весь отжил и твердо зеленел из-за посломанных прошлогодних стеблей пшеницы. Лошадь вязла по ступицу, и каждая нога ее чмокала, вырываясь из полуоттаявшей земли. По плужной пахоте и вовсе нельзя было проехать: только там и держало, где был ледок, а в оттаявших бороздах нога вязла выше ступицы. Пахота была превосходная; через два дня можно будет бороновать и сеять. Все было прекрасно, все было весело. Назад Левин поехал через ручей, надеясь, что вода сбыла. И действительно, он переехал и вспугнул двух уток. «Должны быть и вальдшнепы», – подумал он и как раз у поворота к дому встретил лесного караульщика, который подтвердил его предположение о вальдшнепах.

Левин поехал рысью домой, чтоб успеть пообедать и приготовить ружье к вечеру.

XIV

Подъезжая домой в самом веселом расположении духа, Левин услышал колокольчик со стороны главного подъезда к дому.

«Да, это с железной дороги, – подумал он, – самое время московского поезда... Кто бы это? Что, если это брат Николай? Он ведь сказал: может быть, уеду на воды, а может быть, к тебе приеду». Ему страшно и неприятно стало в первую минуту, что присутствие брата Николая расстроит это его счастливое весеннее расположение. Но ему стало стыдно за это чувство, и тотчас же он как бы раскрыл свои душевные объятия и с умиленной радостью ожидал и желал теперь всею душой, чтоб это был брат. Он тронул лошадь и, выехав за акацию, увидел подъезжавшую ямскую тройку с железнодорожной станции и господина в шубе. Это не был брат. «Ах, если бы кто-нибудь приятный человек, с кем бы поговорить», – подумал он.

– А! – радостно прокричал Левин, поднимая обе руки кверху. – Вот радостный-то гость! Ах, как я рад тебе! – вскрикнул он, узнав Степана Аркадьича.

«Узнаю верно, вышла ли, или когда выходит замуж», – подумал он.

И в этот прекрасный весенний день он почувствовал, что воспоминание о ней совсем не больно ему.

– Что, не ждал? – сказал Степан Аркадьич, вылезая из саней, с комком грязи на переносице, на щеке и брови, но сияющий весельем и здоровьем. – Приехал тебя видеть – раз, – сказал он, обнимая и целуя его, – на тяге постоять – два и лес в Ергушове продать – три.

– Прекрасно! А какова весна? Как это ты на санях доехал?

– В телеге еще хуже, Константин Дмитрич, – отвечал знакомый ямщик.

– Ну, я очень, очень рад тебе, – искренно улыбаясь детски-радостною улыбкою, сказал Левин.

Левин провел своего гостя в комнату для приезжих, куда и были внесены вещи Степана Аркадьича: мешок, ружье в чехле, сумка для сигар, и, оставив его умываться и переодеваться, сам пока прошел в контору сказать о пахоте и клевере. Агафья Михайловна, всегда очень озабоченная честью дома, встретила его в передней вопросами насчет обеда.

– Как хотите делайте, только поскорей, – сказал он и пошел к приказчику.

Когда он вернулся, Степан Аркадьич, вымытый, расчесанный и сияя улыбкой, выходил из своей двери, и они вместе пошли наверх.

– Ну, как я рад, что добрался до тебя! Теперь я пойму, в чем состоят те таинства, которые ты тут совершаешь. Но нет, право, я завидую тебе. Какой дом, как славно все! Светло, весело! – говорил Степан Аркадьич, забывая, что не всегда бывает весна и ясные дни, как нынче. – И твоя нянюшка какая прелесть! Желательнее было бы хорошенькую горничную в фартучке; но с твоим монашеством и строгим стилем – это очень хорошо.

Степан Аркадьич рассказал много интересных новостей и в особенности интересную для Левина новость, что брат его Сергей Иванович собирался на нынешнее лето к нему в деревню.

Ни одного слова Степан Аркадьич не сказал про Кити и вообще Щербацких; только передал поклон жены. Левин был ему благодарен за его деликатность и был очень рад гостю. Как всегда, у него за время его уединения набралось пропасть мыслей и чувств, которых он не мог передать окружающим, и теперь он изливал в Степана Аркадьича и поэтическую радость весны, и неудачи и планы хозяйства, и мысли и замечания о книгах, которые он читал, и в особенности идею своего сочинения, основу которого, хотя он сам не замечал этого, составляла критика всех старых сочинений о хозяйстве. Степан Аркадьич, всегда милый, понимающий все с намека, в этот приезд был особенно мил, и Левин заметил в нем еще новую, польстившую ему черту уважения и как будто нежности к себе.

Старания Агафьи Михайловны и повара, чтоб обед был особенно хорош, имели своим последствием только то, что оба проголодавшиеся приятеля, подсев к закуске, наелись хлеба с маслом, полотка и соленых грибов, и еще то, что Левин велел подавать суп без пирожков, которыми повар хотел особенно удивить гостя. Но Степан Аркадьич, хотя и привыкший к другим обедам, все находил превосходным; и травник, и хлеб, и масло, и особенно полоток, и грибки, и крапивные щи, и курица под белым соусом, и белое крымское вино – все было превосходно и чудесно.

– Отлично, отлично, – говорил он, закуривая толстую папиросу после жаркого. – Я к тебе точно с парохода после шума и тряски на тихий берег вышел. Так ты говоришь, что самый элемент рабочего должен быть изучаем и руководить в выборе приемов хозяйства. Я ведь в этом профан; но мне кажется, что теория и приложение ее будет иметь влияние и на рабочего.

– Да, но постой: я говорю не о политической экономии, я говорю о науке хозяйства. Она должна быть как естественные науки и наблюдать данные явления и рабочего с его экономическим, этнографическим...

В это время вошла Агафья Михайловна с вареньем.

– Ну, Агафья Михайловна, – сказал ей Степан Аркадьич, целуя кончики своих пухлых пальцев, – какой полоток у вас, какой травничок!.. А что, не пора ли, Костя? – прибавил он.

Левин взглянул в окно на спускавшееся за оголенные макуши леса солнце.

– Пора, пора, – сказал он. – Кузьма, закладывать линейку! – и побежал вниз.

Степан Аркадьич, сойдя вниз, сам аккуратно снял парусинный чехол с лакированного ящика и, отворив его, стал собирать свое дорогое, нового фасона ружье. Кузьма, уже чувявший большую дачу на водку, не отходил от Степана Аркадьича и надевал ему и чулки и сапоги, что Степан Аркадьич охотно предоставлял ему делать.

– Прикажи, Костя, если приедет Рябинин-купец – я ему велел нынче приехать, – принять и подождать...

– А ты разве Рябинину продаешь лес?

– Да. Ты разве знаешь его?

– Как же, знаю. Я с ним имел дела «положительно и окончательно».

Степан Аркадьич засмеялся. «Окончительно и положительно» были любимые слова купца.

– Да, он удивительно смешно говорит. Поняла, куда хозяин идет! – прибавил он, потрепав рукой Ласку, которая, подвизгивая, вилась около Левина и лизала то его руку, то его сапоги и ружье.

Долгуша стояла уже у крыльца, когда они вышли.

– Я велел заложить, хотя недалеко; а то пешком пройдем?

– Нет, лучше поедem, – сказал Степан Аркадьич, подходя к долгуше. Он сел, обвернул себе ноги тигровым пледом и закурил сигару. – Как это ты не куришь! Сигара – это такое не то что удовольствие, а венец и признак удовольствия. Вот это жизнь! Как хорошо! Вот бы как я желал жить!

– Да кто же тебе мешает? – улыбаясь, сказал Левин.

– Нет, ты счастливый человек. Все, что ты любишь, у тебя есть. Лошадей любишь – есть, собаки – есть, охота – есть, хозяйство – есть.

– Может быть, оттого, что я радуюсь тому, что у меня есть, и не тужу о том, чего нету, – сказал Левин, вспомнив о Кити.

Степан Аркадьич понял, поглядел на него, но ничего не сказал.

Левин был благодарен Облонскому за то, что тот со своим всегдашним тактом, заметив, что Левин боялся разговора о Щербацких, ничего не говорил о них; но теперь Левину уже хотелось узнать то, что его так мучало, но он не смел заговорить.

– Ну что, твои дела как? – сказал Левин, подумав о том, как нехорошо с его стороны думать только о себе.

Глаза Степана Аркадьича весело заблестели.

– Ты ведь не признаешь, чтобы можно было любить калачи, когда есть отсыпной паек, – по-твоему, это преступление; а я не признаю жизни без любви, – сказал он, поняв по-своему вопрос Левина. – Что ж делать, я так сотворен. И право, так мало делается этим кому-нибудь зла, а себе столько удовольствия...

– Что ж, или новое что-нибудь? – спросил Левин.

– Есть, брат! Вот видишь ли, ты знаешь тип женщин оссиановских... женщин, которых видишь во сне... Вот эти женщины бывают наяву... и эти женщины ужасны. Женщина, видишь ли, это такой предмет, что, сколько ты ни изучай ее, все будет совершенно новое.

– Так уж лучше не изучать.

– Нет. Какой-то математик сказал, что наслаждение не в открытии истины, но в искании ее.

Левин слушал молча, и, несмотря на все усилия, которые он делал над собой, он никак не мог перенестись в душу своего приятеля и понять его чувства и прелести изучения таких женщин.

XV

Место тяги было недалеко над речкой в мелком осиннике. Подъехав к лесу, Левин слез и провел Облонского на угол мшистой и топкой полянки, уже освободившейся от снега. Сам он вернулся на другой край к двойняшке-березе и, прислонив ружье к развилине сухого нижнего сучка, снял кафтан, перепоясался и попробовал свободы движений рук.

Старая, седая Ласка, ходившая за ними следом, села осторожно против него и насторожила уши. Солнце спускалось за крупный лес; и на свете зари березки, рассыпанные по осиннику, отчетливо рисовались своими висящими ветвями с надутыми, готовыми лопнуть почками.

Из частого лесу, где оставался еще снег, чуть слышно текла еще извилистыми узкими ручейками вода. Мелкие птицы щебетали и изредка пролетали с дерева на дерево.

В промежутках совершенной тишины слышен был шорох прошлогодних листьев, шевелившихся от таянья земли и от росту трав.

«Каково! Слышно и видно, как трава растет!» – сказал себе Левин, заметив двинувшийся грифельного цвета мокрый осиновый лист подле иглы молодой травы. Он стоял, слушал и глядел вниз, то на мокрую мшистую землю, то на прислушивающуюся Ласку, то на расстилавшееся пред ним под горою море оголенных макуш леса, то на подернутое белыми полосками туч тускневшее небо. Ястреб, неспешно махая крыльями, пролетел высоко над дальним лесом; другой точно так же пролетел в том же направлении и скрылся. Птицы все громче и хлопотливее щебетали в чаще. Недалеко заухал филин, и Ласка, вздрогнув, переступила осторожно несколько шагов и, склонив набок голову, стала прислушиваться. Из-за речки послышалась кукушка. Она два раза прокуковала обычным криком, а потом захрипела, заторопилась и запуталась.

– Каково! уж кукушка! – сказал Степан Аркадьич, выходя из-за куста.

– Да, я слышу, – отвечал Левин, с неудовольствием нарушая тишину леса своим неприятным самому себе голосом. – Теперь скоро.

Фигура Степана Аркадьича опять зашла за куст, и Левин видел только яркий огонек спички, вслед за тем заменившийся красным углем папиросы и синим дымком.

Чик! Чик! – шелкнули взводимые Степаном Аркадьичем курки.

– А это что кричит? – спросил Облонский, обращая внимание Левина на протяжное гуканье, как будто тонким голоском, шая, ржал жеребенок.

– А, это не знаешь? Это заяц-самец. Да будет говорить! Слушай, летит! – почти вскрикнул Левин, взводя курки.

Послышался дальний, тонкий свисток и, ровно в тот обычный такт, столь знакомый охотнику, через две секунды, – другой, третий, и за третьим свистком уже слышно стало хорканье.

Левин кинул глазами направо, налево, и вот пред ним на мутно-голубом небе, над сливающимися нежными побегам макушек осин показалась летящая птица. Она летела прямо на него: близкие звуки хорканья, похожие на равномерное наддирание тугой ткани, раздались над самым ухом; уже виден стал длинный нос и шея птицы, и в ту минуту, как Левин приложился, из-за куста, где стоял Облонский, блеснула красная молния; птица, как стрела, спустилась и взмыла опять вверх. Опять блеснула молния, и послышался удар; и, трепля крыльями, как бы стараясь удержаться на воздухе, птица остановилась, постояла мгновение и тяжело шлепнулась о топкую землю.

– Неужели промах? – крикнул Степан Аркадьич, которому из-за дыму не видно было.

– Вот он! – сказал Левин, указывая на Ласку, которая, подняв одно ухо и высоко махая кончиком пушистого хвоста, тихим шагом, как бы желая продлить удовольствие и как бы улы-

баясь, подносила убитую птицу к хозяину. – Ну, я рад, что тебе удалось, – сказал Левин, вместе с тем уже испытывая чувство зависти, что не ему удалось убить этого вальдшнепа.

– Скверный промах из правого ствола, – отвечал Степан Аркадьич, заряжая ружье. – Шш... летит.

Действительно, слышались пронзительные, быстро следовавшие один за другим свистки. Два вальдшнепа, играя и догоняя друг друга и только свистя, а не хоркая, налетели на самые головы охотников. Раздались четыре выстрела, и, как ласточки, вальдшнепы дали быстрый заворот и исчезли из виду.

...

Тяга была прекрасная. Степан Аркадьич убил еще две штуки, и Левин двух, из которых одного не нашел. Стало темнеть. Ясная серебряная Венера низко на западе уже сияла из-за березок своим нежным блеском, и высоко на востоке уже переливался своими красными огнями мрачный Арктурус. Над головой у себя Левин ловил и терял звезды Медведицы. Вальдшнепы уже перестали летать; но Левин решил подождать еще, пока видная ему ниже сучка березы Венера перейдет выше его и когда ясны будут везде звезды Медведицы. Венера перешла уже выше сучка, колесница Медведицы с своим дышлом была уже вся видна на темно-синем небе, но он все еще ждал.

– Не пора ли? – сказал Степан Аркадьич.

В лесу уже было тихо, и ни одна птичка не шевелилась.

– Постоим еще, – отвечал Левин.

– Как хочешь.

Они стояли теперь шагах в пятнадцати друг от друга.

– Стива! – вдруг неожиданно сказал Левин, – что ж ты мне не скажешь, вышла твоя свояченица замуж или когда выходит?

Левин чувствовал себя столь твердым и спокойным, что никакой ответ, он думал, не мог бы взволновать его. Но он никак не ожидал того, что отвечал Степан Аркадьич.

– И не думала и не думает выходить замуж, а она очень больна, и доктора послали ее за границу. Даже бояться за ее жизнь.

– Что ты! – вскрикнул Левин. – Очень больна? Что же с ней? Как она...

В то время, как они говорили это, Ласка, насторожив уши, оглядывалась и вверх на небо и укоризненно на них.

«Вот нашли время разговаривать, – думала она, – летит... Вот он, так и есть. Прозевают...» – думала Ласка.

Но в это самое мгновение оба вдруг услышали пронзительный свист, который как будто стегнул их по уху, и оба вдруг схватились за ружья, и две молнии блеснули, и два удара раздались в одно и то же мгновение. Высоко летевший вальдшнеп мгновенно сложил крылья и упал в чащу, пригибая тонкие побеги.

– Вот отлично! Общай! – вскрикнул Левин и побежал с Лаской в чащу отыскивать вальдшнепа. «Ах да, о чем это неприятно было? – вспоминал он. – Да, больна Кити... Что ж делать, очень жаль», – думал он.

– А, нашла! Вот умница, – сказал он, вынимая изо рта Ласки теплую птицу и кладя ее в полный почти ягдташ. – Нашел, Стива! – крикнул он.

XVI

Возвращаясь домой, Левин расспросил все подробности о болезни Кити и планах Щербачих, и, хотя ему совестно бы было признаться в этом, то, что он узнал, было приятно ему. Приятно и потому, что была еще надежда, и еще более приятно потому, что больно было ей, той, которая сделала ему так больно. Но когда Степан Аркадьич начал говорить о причинах болезни Кити и упомянул имя Вронского, Левин перебил его:

– Я не имею никакого права знать семейные подробности, по правде сказать, и никакого интереса.

Степан Аркадьич чуть заметно улыбнулся, уловив мгновенную и столь знакомую ему перемену в лице Левина, сделавшегося столь же мрачным, сколько он был весел минуту тому назад.

– Ты уже совсем кончил о лесе с Рябининым? – спросил Левин.

– Да, кончил. Цена прекрасная, тридцать восемь тысяч. Восемь вперед, а остальные на шесть лет. Я долго с этим возился. Никто больше не давал.

– Это значит, ты даром отдал лес, – мрачно сказал Левин.

– То есть почему же даром? – с добродушной улыбкой сказал Степан Аркадьич, зная, что теперь все будет нехорошо для Левина.

– Потому, что лес стоит по крайней мере пятьсот рублей за десятину, – отвечал Левин.

– Ах, эти мне сельские хозяева! – шутливо сказал Степан Аркадьич. – Этот ваш тон презрения к нашему брату городским!.. А как дело сделать, так мы лучше всегда сделаем. Поверь, что я все расчел, – сказал он, – и лес очень выгодно продан, так что я боюсь, как бы тот не отказался даже. Ведь это не *обидной* лес, – сказал Степан Аркадьич, желая этим словом обидной совсем убедить Левина в несправедливости его сомнений, – а дровяной больше. И станет не больше тридцати сажень на десятину, а он дал мне по двести рублей.

Левин презрительно улыбнулся. «Знаю, – подумал он, – эту манеру не одного его, но и всех городских жителей, которые, побывав раза два в десять лет в деревне и заметив два-три слова деревенские, употребляют их кстати и некстати, твердо уверенные, что они уже все знают. *Обидной, станет тридцать сажень*. Говорит слова, а сам ничего не понимает».

– Я не стану тебя учить тому, что ты там такое пишешь в своем присутствии, – сказал он, – а если мне нужно, то спрошу у тебя. А ты так уверен, что ты понимаешь всю эту грамоту о лесе. Она трудная. Счел ли ты деревья?

– Как счесть деревья? – смеясь, сказал Степан Аркадьич, все желая вывести приятеля из его дурного расположения духа. – Сочесть пески, лучи планет хотя и мог бы ум высокий...

– Ну да, а ум высокий Рябинина может. И ни один купец не купит не считая, если ему не отдадут даром, как ты. Твой лес я знаю. Я каждый год там бываю на охоте, и твой лес стоит пятьсот рублей чистыми деньгами, а он тебе дал двести в рассрочку. Значит, ты ему подарил тысяч тридцать.

– Ну, полно увлекаться, – жалостно сказал Степан Аркадьич, – отчего же никто не давал?

– Оттого, что у него стачки с купцами: он дал отступного. Я со всеми ими имел дела, я их знаю. Ведь это не купцы, а барышники. Он и не пойдет на дело, где ему предстоит десять, пятнадцать процентов, а он ждет, чтобы купить за двадцать копеек рубль.

– Ну, полно! Ты не в духе.

– Нисколько, – мрачно сказал Левин, когда они подъезжали к дому.

У крыльца уже стояла туго обтянутая железом и кожей тележка с туго запряженной широкими гужами сытою лошадью. В тележке сидел туго налитой кровью и туго подпоясанный приказчик, служивший кучером Рябинину. Сам Рябинин был уже в доме и встретил приятелей в передней. Рябинин был высокий, худощавый человек средних лет, с усами и бритым

выдающимся подбородком и выпуклыми мутными глазами. Он был одет в длиннополый синий сюртук с пуговицами ниже зада и в высоких, сморщенных на щиколках и прямых на икрах сапогах, сверх которых были надеты большие калоши. Он округло вытер платком свое лицо и, запахнув сюртук, который и без того держался очень хорошо, с улыбкой приветствовал вошедших, протягивая Степану Аркадьичу руку, как бы желая поймать что-то.

– А вот и вы приехали, – сказал Степан Аркадьич, подавая ему руку. – Прекрасно.

– Не осмелился послушаться приказаний вашего сиятельства, хоть слишком дурна дорога. Положительно всю дорогу пешком шел, но явился в срок. Константину Дмитричу мое почтение, – обратился он к Левину, стараясь поймать и его руку. Но Левин, нахмурившись, делал вид, что не замечает его руки, и вынимал вальдшнепов. – Изволили потешаться охотой? Это какие, значит, птицы будут? – прибавил Рябинин, презрительно глядя на вальдшнепов, – вкус, значит, имеют. – И он неодобрительно покачал головой, как бы сильно сомневаясь в том, чтоб эта овчинка стоила выделки.

– Хочешь в кабинет? – мрачно хмурясь, сказал Левин по-французски Степану Аркадьичу. – Пройдите в кабинет, вы там переговорите.

– Очень можно, куда угодно-с, – с презрительным достоинством сказал Рябинин, как бы желая дать почувствовать, что для других могут быть затруднения, как и с кем обойтись, но для него никогда и ни в чем не может быть затруднений.

Войдя в кабинет, Рябинин осмотрелся по привычке, как бы отыскивая образ, но, найдя его, не перекрестился. Он оглядел шкафы и полки с книгами и с тем же сомнением, как и насчет вальдшнепов, презрительно улыбнулся и неодобрительно покачал головой, никак уже не допуская, чтоб эта овчинка могла стоить выделки.

– Что ж, привезли деньги? – спросил Облонский. – Садитесь.

– Мы за деньгами не постоим. Повидаться, переговорить приехал.

– О чем же переговорить? Да вы садитесь.

– Это можно, – сказал Рябинин, садясь и самым мучительным для себя образом облокачиваясь на спинку кресла. – Уступить надо, князь. Грех будет. А деньги готовы окончательно, до одной копейки. За деньгами остановки не бывает.

Левин, ставивший между тем ружье в шкаф, уже выходил из двери, но, услышав слова купца, остановился.

– Задаром лес взяли, – сказал он. – Поздно он ко мне приехал, а то я бы цену назначил.

Рябинин встал и молча с улыбкой поглядел снизу вверх на Левина.

– Оченно скупы, Константин Дмитрич, – сказал он с улыбкой, обращаясь к Степану Аркадьичу, – окончательно ничего не укупишь. Торговал пшеницу, хорошие деньги давал.

– Зачем мне вам свое даром давать? Я ведь не на земле нашел и не украл.

Помилуйте, по нынешнему время воровать положительно невозможно. Все окончательно по нынешнему время гласное судопроизводство, все нынче благородно; а не то что воровать. Мы говорили по чести. Дорого кладут за лес, расчетов не сведешь. Прошу уступить хоть малость.

– Да кончено у вас дело или нет? Если кончено, нечего торговаться, а если не кончено, – сказал Левин, – я покупаю лес.

Улыбка вдруг исчезла с лица Рябинина. Ястребиное, хищное и жесткое выражение установилось на нем. Он быстрыми костлявыми пальцами расстегнул сюртук, открыв рубаху навыпуск, медные пуговицы жилета и цепочку часов, и быстро достал толстый старый бумажник.

– Пожалуйте, лес мой, – проговорил он, быстро перекрестившись и протягивая руку. – Возьми деньги, мой лес. Вот как Рябинин торгует, а не гроши считать, – заговорил он, хмурясь и размахивая бумажником.

– Я бы на твоём месте не торопился, – сказал Левин.

– Помилуй, – с удивлением сказал Облонский, – ведь я слово дал.

Левин вышел из комнаты, хлопнув дверью. Рябинин, глядя на дверь, с улыбкой покачал головой.

– Все молодость, окончательно ребячество одно. Ведь покупаю, верьте чести, так, значит, для славы одной, что вот Рябинин, а не кто другой у Облонского рощу купил. А еще как Бог даст расчеты найти. Верьте Богу. Пожалуйста. Условице написать...

Через час купец, аккуратно запахнув свой халат и застегнув крючки сюртука, с условием в кармане сел в свою туго окованную тележку и поехал домой.

– Ох, эти господа! – сказал он приказчику, – один предмет.

– Это как есть, – отвечал приказчик, передавая ему вожжи и застегивая кожаный фартук. – А с покупочкой, Михаил Игнатьич?

– Ну, ну...

XVII

Степан Аркадьич с оттопыренным карманом серий, которые за три месяца вперед отдал ему купец, вошел наверх. Дело с лесом было кончено, деньги в кармане, тяга была прекрасная, и Степан Аркадьич находился в самом веселом расположении духа, а потому ему особенно хотелось рассеять дурное настроение, нашедшее на Левина. Ему хотелось окончить день за ужином так же приятно, как он был начат.

Действительно, Левин был не в духе и, несмотря на все свое желание быть ласковым и любезным со своим милым гостем, не мог преодолеть себя. Хмель известия о том, что Кити не вышла замуж, понемногу начинал разбирать его.

Кити не замужем и больна, больна от любви к человеку, который пренебрег ею. Это оскорбление как будто падало на него. Вронский пренебрег ею, а она пренебрегла им, Левиным. Следовательно, Вронский имел право презирать Левина и потому был его враг. Но этого всего не думал Левин. Он смутно чувствовал, что в этом что-то есть оскорбительное для него, и сердился теперь не на то, что расстроило его, а придирался ко всему, что представлялось ему. Глупая продажа леса, обман, на который попался Облонский и который совершился у него в доме, раздражал его.

– Ну, кончил? – сказал он, встречая наверху Степана Аркадьича. – Хочешь ужинать?

– Да, не откажусь. Какой аппетит у меня в деревне, чудо! Что ж ты Рябинину не предложил поесть?

– А, черт с ним!

– Однако как ты обходишься с ним! – сказал Облонский. – Ты и руки ему не подал. Отчего же не подать ему руки?

– Оттого, что я лакею не подам руку, а лакей во сто раз лучше.

– Какой ты, однако, ретроград! А слияние сословий? – сказал Облонский.

– Кому приятно сливаться – на здоровье, а мне противно.

– Ты, я вижу, решительно ретроград.

– Право, я никогда не думал, кто я. Я – Константин Левин, больше ничего.

– И Константин Левин, который очень не в духе, – улыбаясь, сказал Степан Аркадьич.

– Да, я не в духе, и знаешь отчего? От, извини меня, твоей глупой продажи...

Степан Аркадьич добродушно сморщился, как человек, которого безвинно обижают и расстраивают.

– Ну, полно! – сказал он. – Когда бывало, чтобы кто-нибудь что-нибудь продал и ему бы не сказали сейчас же после продажи: «Это гораздо дороже стоит»? А куда продают, никто не дает... Нет, я вижу, у тебя есть зуб против этого несчастного Рябинина.

– Может быть, и есть. А ты знаешь за что? Ты скажешь опять, что я ретроград, или еще какое страшное слово, но все-таки мне досадно и обидно видеть это со всех сторон совершающееся обеднение дворянства, к которому я принадлежу, и, несмотря на слияние сословий, очень рад, что принадлежу. И обеднение не вследствие роскоши – это бы ничего; прожить по-барски – это дворянское дело, это только дворяне умеют. Теперь мужики около нас скупают земли, – мне не обидно. Барин ничего не делает, мужик работает и вытесняет праздного человека. Так должно быть. И я очень рад мужику. Но мне обидно смотреть на это обеднение по какой-то, не знаю как назвать, невинности. Тут арендатор-поляк купил за полцены у барыни, которая живет в Ницце, чудесное имение. Тут отдают купцу в аренду за рубль десятину земли, которая стоит десять рублей. Тут ты безо всякой причины подарил этому плуту тридцать тысяч.

– Так что же? считать каждое дерево?

– Непременно считать. А вот ты не считал, а Рябинин считал. У детей Рябинина будут средства к жизни и образованию, а у твоих, пожалуй, не будет!

– Ну, уж извини меня, но есть что-то мизерное в этом считанье. У нас свои занятия, у них свои, и им надо барыши. Ну, впрочем, дело сделано, и конец. А вот и глазунья, самая моя любимая яичница. И Агафья Михайловна даст нам этого травничку чудесного...

Степан Аркадьич сел к столу и начал шутить с Агафьей Михайловной, уверяя ее, что такого обеда и ужина он давно не ел.

– Вот вы хоть похвалите, – сказала Агафья Михайловна, – а Константин Дмитрич, что ему ни подай, хоть хлеба корку, – поел и пошел.

Как ни старался Левин преодолеть себя, он был мрачен и молчалив. Ему нужно было сделать один вопрос Степану Аркадьичу, но он не мог решиться и не находил ни формы, ни времени, как и когда его сделать. Степан Аркадьич уже сошел к себе вниз, разделся, опять умылся, облекся в гофрированную ночную рубашку и лег, а Левин все медлил у него в комнате, говоря о разных пустяках и не будучи в силах спросить, что хотел.

– Как это удивительно делают мыло, – сказал он, оглядывая и разворачивая душистый кусок мыла, который для гостя приготовила Агафья Михайловна, но который Облонский не употреблял. – Ты посмотри, ведь это произведение искусства.

– Да, до всего дошло теперь всякое усовершенствование, – сказал Степан Аркадьич, влажно и блаженно зевая. – Театры, например, и эти увеселительные... а-а-а! – зевал он. – Электрический свет везде... а-а!

– Да, электрический свет, – сказал Левин. – Да. Ну, а где Вронский теперь? – спросил он вдруг, положив мыло.

– Вронский? – сказал Степан Аркадьич, остановив зевоту, – он в Петербурге. Уехал вскоре после тебя и затем ни разу не был в Москве. И знаешь, Костя, я тебе правду скажу, – продолжал он, облокотившись на стол и положив на руку свое красивое румяное лицо, из которого светились, как звезды, масляные, добрые и сонные глаза. – Ты сам был виноват. Ты испугался соперника. А я, как и тогда тебе говорил, – я не знаю, на чьей стороне было более шансов. Отчего ты не шел напролом? Я тебе говорил тогда, что... – Он зевнул одними челюстями, не раскрывая рта.

«Знает он или не знает, что я делал предложение? – подумал Левин, глядя на него. – Да, что-то есть хитрое, дипломатическое в нем», – и, чувствуя, что краснеет, он молча смотрел прямо в глаза Степана Аркадьича.

– Если было с ее стороны что-нибудь тогда, то это было увлечение внешностью, – продолжал Облонский. – Этот, знаешь, совершенный аристократизм и будущее положение в свете подействовали не на нее, а на мать.

Левин нахмурился. Оскорбление отказа, через которое он перешел, как будто свежую, только что полученную раной загло его в сердце. Он был дома, а дома стены помогают.

– Постой, постой, – заговорил он, перебивая Облонского, – ты говоришь: аристократизм. А позволь тебя спросить, в чем это состоит аристократизм Вронского или кого бы то ни было, – такой аристократизм, чтобы можно пренебречь мною? Ты считаешь Вронского аристократом, но я нет. Человек, отец которого вылез из ничего пронырством, мать которого бог знает с кем не была в связи... Нет, уж извини, но я считаю аристократом себя и людей, подобных мне, которые в прошедшем могут указать на три-четыре честные поколения семей, находившихся на высшей степени образования (дарованье и ум – это другое дело), и которые никогда ни пред кем не подличали, никогда ни в ком не нуждались, как жили мой отец, мой дед. И я знаю много таких. Тебе низко кажется, что я считаю деревья в лесу, а ты даришь тридцать тысяч Рябинину; но ты получишь аренду и не знаю еще что, а я не получу и потому дорожу родовым и трудовым... Мы аристократы, а не те, которые могут существовать только подачками от сильных мира сего и кого купить можно за двугривенный.

– На кого ты? Я с тобой согласен, – говорил Степан Аркадьич искренно и весело, хотя чувствовал, что Левин под именем тех, кого можно купить за двугривенный, разумел и его.

Оживление Левина ему искренно нравилось. – На кого ты? Хотя многое и неправда, что ты говоришь про Вронского, но я не про то говорю. Я говорю тебе прямо, я на твоём месте поехал бы со мной в Москву и...

– Нет, я не знаю, знаешь ли ты или нет, но мне все равно. И я скажу тебе, – я сделал предложение и получил отказ, и Катерина Александровна для меня теперь только тяжелое, постыдное воспоминание.

– Отчего? Вот вздор!

– Но не будем говорить. Извини меня, пожалуйста, если я был груб с тобой, – сказал Левин. Теперь, высказав все, он опять стал тем, каким был поутру. – Ты не сердишься на меня, Стива? Пожалуйста, не сердись, – сказал он и, улыбаясь, взял его за руку.

– Да нет, нисколько, и не за что. Я рад, что мы объяснились. А знаешь, утренняя тяга бывает хороша. Не поехать ли? Я бы так и не спал, а прямо с тяги и на станцию.

– И прекрасно.

XVIII

Несмотря на то, что вся внутренняя жизнь Вронского была наполнена его страстью, внешняя жизнь его неизменно и неудержимо катилась по прежним, привычным рельсам светских и полковых связей и интересов. Полковые интересы занимали важное место в жизни Вронского и потому, что он любил полк, и еще более потому, что его любили в полку. В полку не только любили Вронского, но его уважали и гордились им, гордились тем, что этот человек, огромно богатый, с прекрасным образованием и способностями, с открытой дорогой ко всякого рода успеху и честолюбию и тщеславию, пренебрегал этим всем и из всех жизненных интересов ближе всего принимал к сердцу интересы полка и товарищества. Вронский сознавал этот взгляд на себя товарищей и, кроме того, что любил эту жизнь, чувствовал себя обязанным поддерживать установившийся на него взгляд.

Само собою разумеется, что он не говорил ни с кем из товарищей о своей любви, не проговаривался и в самых сильных попойках (впрочем, он никогда не бывал так пьян, чтобы терять власть над собой) и затыкал рот тем из легкомысленных товарищей, которые пытались намекать ему на его связь. Но, несмотря на то, что его любовь была известна всему городу – все более или менее верно догадывались об его отношениях к Карениной, – большинство молодых людей завидовали ему именно в том, что было самое тяжелое в его любви, – в высоком положении Каренина и потому в выставленности этой связи для света.

Большинство молодых женщин, завидовавших Анне, которым уже давно наскучило то, что ее называют справедливою, радовались тому, что они предполагали, и ждали только подтверждения оборота общественного мнения, чтоб обрушиться на нее всею тяжестью своего презрения. Они приготавливали уже те комки грязи, которыми они бросят в нее, когда придет время. Большинство пожилых людей и люди высокопоставленные были недовольны этим готовящимся общественным скандалом.

Мать Вронского, узнав о его связи, сначала была довольна – и потому, что ничто, по ее понятиям, не давало последней отделки блестящему молодому человеку, как связь в высшем свете, и потому, что столь понравившаяся ей Каренина, так много говорившая о своем сыне, была все-таки такая же, как и все красивые и порядочные женщины, по понятиям графини Вронской. Но в последнее время она узнала, что сын отказался от предложенного ему, важного для карьеры, положения, только с тем, чтоб оставаться в полку, где он мог видаться с Карениной, узнала, что им недовольны за это высокопоставленные лица, и она переменила свое мнение. Не нравилось ей тоже то, что по всему, что она узнала про эту связь, это не была та блестящая, грациозная светская связь, какую она бы одобрила, но какая-то вертеровская, отчаянная страсть, как ей рассказывали, которая могла вовлечь его в глупости. Она не видала его со времени его неожиданного отъезда из Москвы и через старшего сына требовала, чтоб он приехал к ней.

Старший брат был также недоволен меньшим. Он не разбирал, какая то была любовь, большая или маленькая, страстная или не страстная, порочная или не порочная (он сам, имея детей, содержал танцовщицу и потому был снисходителен на это); но он знал, что это любовь, не нравящаяся тем, кому нужно нравиться, и потому не одобрял поведения брата.

Кроме занятий службы и света, у Вронского было еще занятие – лошади, до которых он был страстный охотник.

В нынешнем же году назначены были офицерские скачки с препятствиями. Вронский записался на скачки, купил английскую кровную кобылу и, несмотря на свою любовь, был страстно, хотя и сдержанно, увлечен предстоящими скачками...

Две страсти эти не мешали одна другой. Напротив, ему нужно было занятие и увлечение, не зависимое от его любви, на котором он освежался и отдыхал от слишком волновавших его впечатлений.

XIX

В день красносельских скачек Вронский раньше обыкновенного пришел съесть бифстек в общую залу артели полка. Ему не нужно было очень строго выдерживать себя, так как вес его как раз равнялся положенным четырем пудам с половиною; но надо было и не потолстеть, и потому он избегал мучного и сладкого. Он сидел в расстегнутом над белым жилетом сюртуке, облокотившись обеими руками на стол, и, ожидая заказанного бифстека, смотрел в книгу французского романа, лежавшую на тарелке. Он смотрел в книгу только затем, чтобы не разговаривать с входившими и выходившими офицерами, и думал.

Он думал о том, что Анна обещала ему дать свиданье нынче после скачек. Но он не видал ее три дня, и, вследствие возвращения мужа из-за границы, не знал, возможно ли это нынче или нет, и не знал, как узнать это. Он виделся с ней в последний раз на даче у кузины Бетси. На дачу же Карениных он ездил как можно реже. Теперь он хотел ехать туда и обдумывал вопрос, как это сделать.

«Разумеется, я скажу, что Бетси прислала меня спросить, приедет ли она на скачки. Разумеется, поеду», – решил он сам с собой, поднимая голову от книги. И, живо представив себе счастье увидеть ее, он просиял лицом.

– Пошли ко мне на дом, чтобы закладывали поскорей коляску тройкой, – сказал он слуге, подававшему ему бифстек на серебряном горячем блюде, и, придвинув блюдо, стал есть.

В соседней бильярдной слышались удары шаров, говор и смех. Из входной двери появились два офицера: один молоденький, с слабым, тонким лицом, недавно поступивший из Пажеского корпуса в их полк; другой пухлый, старый офицер с браслетом на руке и заплывшими маленькими глазами.

Вронский взглянул на них, нахмурился и, как будто не заметив их, косясь на книгу, стал есть и читать вместе.

– Что? подкрепляешься на работу? – сказал пухлый офицер, садясь подле него.

– Видишь, – отвечал Вронский, хмурясь, отирая рот и не глядя на него.

– А не боишься потолстеть? – сказал тот, поворачивая стул для молоденького офицера.

– Что? – сердито сказал Вронский, делая гримасу отвращения и показывая свои сплошные зубы.

– Не боишься потолстеть?

– Человек, хересу! – сказал Вронский, не отвечая, и, переложив книгу на другую сторону, продолжал читать.

Пухлый офицер взял карту вин и обратился к молоденькому офицеру.

– Ты сам выбери, что будем пить, – сказал он, подавая ему карту и глядя на него.

– Пожалуй, рейнвейну, – сказал молодой офицер, робко косясь на Вронского и стараясь поймать пальцами чуть отросшие усики. Видя, что Вронский не оборачивается, молодой офицер встал.

– Пойдем в бильярдную, – сказал он.

Пухлый офицер покорно встал, и они направились к двери.

В это время в комнату вошел высокий и статный ротмистр Яшвин и, кверху, презрительно кивнув головой двум офицерам, подошел ко Вронскому.

– А! вот он! – крикнул он, крепко ударив его своею большою рукой по погону. Вронский оглянулся сердито, но тотчас же лицо его просияло свойственною ему спокойною и твердою лаской.

– Умно, Алеша, – сказал ротмистр громким баритоном. – Теперь поешь и выпей одну рюмочку.

– Да не хочется есть.

– Вот неразлучные, – прибавил Яшвин, насмешливо глядя на двух офицеров, которые выходили в это время из комнаты. И он сел подле Вронского, согнув острыми углами свои слишком длинные по высоте стульев стегна и голени в узких рейтузах. – Что ж ты вчера не заехал в красненский театр? Нумерова совсем недурна была. Где ты был?

– Я у Тверских засиделся, – отвечал Вронский.

– А! – отозвался Яшвин.

Яшвин, игрок, кутила и не только человек без всяких правил, но с безнравственными правилами, – Яшвин был в полку лучший приятель Вронского. Вронский любил его и за его необычайную физическую силу, которую он большею частью выказывал тем, что мог пить, как бочка, не спать и быть все таким же, и за большую нравственную силу, которую он выказывал в отношениях к начальникам и товарищам, вызывая к себе страх и уважение, и в игре, которую он вел на десятки тысяч и всегда, несмотря на выпитое вино, так тонко и твердо, что считался первым игроком в Английском клубе. Вронский уважал и любил его в особенности за то, что чувствовал, что Яшвин любит его не за его имя и богатство, а за него самого. И из всех людей с ним одним Вронский хотел бы говорить про свою любовь. Он чувствовал, что Яшвин один, несмотря на то, что, казалось, презирал всякое чувство, – один, казалось Вронскому, мог понимать ту сильную страсть, которая теперь наполнила всю его жизнь. Кроме того, он был уверен, что Яшвин уже наверное не находит удовольствия в сплетне и скандале, а понимает это чувство как должно, то есть знает и верит, что любовь эта – не шутка, не забава, а что-то серьезнее и важнее.

Вронский не говорил с ним о своей любви, но знал, что он все знает, все понимает как должно, и ему приятно было видеть это по его глазам.

– А, да! – сказал он на то, что Вронский был у Тверских, и, блеснув своими черными глазами, взялся за левый ус и стал заправлять его в рот по своей дурной привычке.

– Ну, а ты вчера что сделал? Выиграл? – спросил Вронский.

– Восемь тысяч. Да три не хороши, едва ли отдаст.

– Ну, так можешь за меня и проиграть, – сказал Вронский, смеясь. (Яшвин держал большое пари за Вронского.)

– Ни за что не проиграю.

– Один Махотин опасен.

И разговор перешел на ожидания нынешней скачки, о которой только и мог думать теперь Вронский.

– Пойдем, я кончил, – сказал Вронский и, встав, пошел к двери. Яшвин встал тоже, растянув свои огромные ноги и длинную спину.

– Мне обедать еще рано, а выпить надо. Я приду сейчас. Ей, вина! – крикнул он своим знаменитым в командовании, густым и заставлявшим дрожать стекла голосом. – Нет, не надо, – тотчас же опять крикнул он. – Ты домой, так я с тобой пойду.

И они пошли с Вронским.

XX

Вронский стоял в просторной и чистой, разгороженной надвое чухонской избе. Петрицкий жил с ним вместе и в лагерях. Петрицкий спал, когда Вронский с Яшвиным вошли в избу.

– Вставай, будет спать, – сказал Яшвин, заходя за перегородку и толкая за плечо уткнувшегося носом в подушку взлохмаченного Петрицкого.

Петрицкий вдруг вскочил на коленки и оглянулся.

– Твой брат был здесь, – сказал он Вронскому. – Разбудил меня, черт его возьми, сказал, что придет опять. – И он опять, натягивая одеяло, бросился на подушку. – Да оставь же, Яшвин, – говорил он, сердясь на Яшвина, тащившего с него одеяло. – Оставь! – Он повернулся и открыл глаза. – Ты лучше скажи, что выпить; такая гадость во рту, что...

– Водки лучше всего, – пробасил Яшвин. – Терещенко! водки барину и огурец, – крикнул он, видимо любя слушать свой голос.

– Водки, ты думаешь? А? – спросил Петрицкий, морщась и протирая глаза. – А ты выпьешь? Вместе, так выпьем! Вронский, выпьешь? – сказал Петрицкий, вставая и закутываясь под руками в тигровое одеяло.

Он вышел в дверь перегородки, поднял руки и запел по-французски: «Был король в Ту-у-ле».

– Вронский, выпьешь?

– Убирайся, – сказал Вронский, надевавший подаваемый лакеем сюртук.

– Это куда? – спросил его Яшвин. – Вот и тройка, – прибавил он, увидев подъезжавшую коляску.

– В конюшню, да еще мне нужно к Брянскому об лошадях, – сказал Вронский.

Вронский действительно обещал быть у Брянского, в десяти верстах от Петергофа, и привезти ему за лошадей деньги; и он хотел успеть побывать и там. Но товарищи тотчас же поняли, что он не туда только едет.

Петрицкий, продолжая петь, подмигнул глазом и надул губы, как бы говоря: знаем, какой это Брянский.

– Смотри не апоздай! – сказал только Яшвин и, чтобы переменить разговор: – Что мой саврасый, служит хорошо? – спросил он, глядя в окно, про коренного, которого он продал.

– Стой! – закричал Петрицкий уже уходившему Вронскому. – Брат твой оставил письмо тебе и записку. Постой, где они?

Вронский остановился.

– Ну, где же они?

– Где они? Вот в чем вопрос! – проговорил торжественно Петрицкий, проводя кверху от носа указательным пальцем.

– Да говори же, это глупо! – улыбаясь, сказал Вронский.

– Камина я не топил. Здесь где-нибудь.

– Ну, полно врать! Где же письмо?

– Нет, право забыл. Или я во сне видел? Постой, постой! Да что ж сердиться! Если бы ты, как я вчера, выпил четыре бутылочки на брата, ты бы и забыл, где ты лежишь. Постой, сейчас вспомню!

Петрицкий пошел за перегородку и лег на свою кровать.

– Стой! Так я лежал, так он стоял. Да-да-да-да... Вот оно! – И Петрицкий вынул письмо из-под матраца, куда он запрятал его.

Вронский взял письмо и записку брата. Это было то самое, что он ожидал, – письмо от матери с упреками за то, что он не приезжал, и записка от брата, в которой говорилось, что нужно переговорить. Вронский знал, что это все о том же. «Что им за дело!» – подумал Врон-

ский и, смяв письма, сунул их между пуговиц сюртука, чтобы внимательно прочесть дорогой. В сенях избы ему встретились два офицера: один их, а другой другого полка.

Квартира Вронского всегда была притоном всех офицеров.

– Куда?

– Нужно, в Петергоф.

– А лошадь пришла из Царского?

– Пришла, да я не видал еще.

– Говорят, Махотина Гладиатор захромал.

– Вздор! Только как вы по этой грязи поскачете? – сказал другой.

– Вот мои спасители! – закричал, увидав вошедших, Петрицкий, пред которым стоял денщик с водкой и огурцом на подносе. – Вот Яшвин велит пить, чтоб освежиться.

– Ну, уж вы нам задали вчера, – сказал один из пришедших, – всю ночь не давали спать.

– Нет, каково мы окончили! – рассказывал Петрицкий. – Волков залез на крышу и говорит, что ему грустно. Я говорю: давай музыку, погребальный марш! Он так на крыше и заснул под погребальный марш.

– Так что ж пить? – говорил он, держа рюмку и морщась.

– Выпей, выпей водки непременно, а потом сельтерской воды и много лимона, – говорил Яшвин, стоя над Петрицким, как мать, заставляющая ребенка принимать лекарство, – а потом уж шампанского немножечко, – так, бутылочку.

– Вот это умно. Постой, Вронский, выпьем.

– Нет, прощайте, господа, нынче я не пью.

– Что ж, потяжелеешь? Ну, так мы одни. Давай сельтерской воды и лимон.

– Вронский! – закричал кто-то, когда он уж выходил в сени.

– Что?

– Ты бы волосы обстриг, а то они у тебя тяжелы, особенно на лысине.

Вронский действительно преждевременно начинал плешиветь. Он весело засмеялся, показывая свои сплошные зубы, и, надвинув фуражку на лысину, вышел и сел в коляску.

– В конюшню! – сказал он и достал было письма, чтобы прочесть их, но потом раздумал, чтобы не развлекаться до осмотра лошади. – «Потом!..»

XXI

Временная конюшня, балаган из досок, была построена подле самого ипподрома, и туда вчера должна была быть приведена его лошадь. Он еще не видал ее. В эти последние дни он сам не ездил на проездку, а поручил тренеру и теперь решительно не знал, в каком состоянии пришла и была его лошадь. Едва он вышел из коляски, как конюх его (грум), так называемый мальчик, узнав еще издали его коляску, вызвал тренера. Сухой англичанин в высоких сапогах и в короткой жакетке, с клочком волос, оставленным только под подбородком, неумелую походкой жокеев, растопыривая локти и раскачиваясь, вышел навстречу.

– Ну что Фру-Фру? – спросил Вронский по-английски.

– All right, sir, – все исправно, сударь, – где-то внутри горла проговорил голос англичанина. – Лучше не ходите, – прибавил он, поднимая шляпу. – Я надел намордник, и лошадь возбуждена. Лучше не ходить, это тревожит лошадь.

– Нет, уж я войду. Мне хочется взглянуть.

– Пойдем, – все так же не открывая рта, нахмурившись, сказал англичанин и, размахивая локтями, пошел вперед своею развинченною походкой.

Они вошли в дворик пред баракom. Дежурный, в чистой куртке, нарядный молодцеватый мальчик, с метлой в руке, встретил входивших и пошел за ними. В бараке стояло пять лошадей по денникам, и Вронский знал, что тут же нынче должен быть приведен и стоит его главный соперник, рыжий пятивершковый Гладиатор Махотина. Еще более, чем свою лошадь, Вронскому хотелось видеть Гладиатора, которого он не видал; но Вронский знал, что, по законам приличия конской охоты, не только нельзя видеть его, но неприлично и расспрашивать про него. В то время когда он шел по коридору, мальчик отворил дверь во второй денник налево, и Вронский увидел рыжую крупную лошадь и белые ноги. Он знал, что это был Гладиатор, но с чувством человека, отворачивающегося от чужого раскрытого письма, он отвернулся и подошел к деннику Фру-Фру.

– Здесь лошадь Ма-к... Мак... никогда не могу выговорить это имя, – сказал англичанин через плечо, указывая большим, с грязным ногтем пальцем на денник Гладиатора.

– Махотина? Да, это мой один серьезный соперник, – сказал Вронский.

– Если бы вы ехали на нем, – сказал англичанин, – я бы за вас держал.

– Фру-Фру нервнее, он сильнее, – сказал Вронский, улыбаясь от похвалы своей езде.

– С препятствиями все дело в езде и в pluck, – сказал англичанин.

Pluck, то есть энергии и смелости, Вронский не только чувствовал в себе достаточно, но, что гораздо важнее, он был твердо убежден, что ни у кого в мире не могло быть этого pluck больше, чем у него.

– А вы верно знаете, что не нужно было *большого потнения*?

– Не нужно, – отвечал англичанин. – Пожалуйста, не говорите громко. Лошадь волнуется, – прибавил он, кивая головою на запертый денник, пред которым они стояли и где слышалась перестановка ног по соломе.

Он отворил дверь, и Вронский вошел в слабо освещенный из одного маленького окошечка денник. В деннике, перебирая ногами по свежей соломе, стояла караковая лошадь с намордником. Оглядевшись в полусвете денника, Вронский опять невольно обнял одним общим взглядом все стати своей любимой лошади. Фру-Фру была среднего роста лошадь и по статьям не безукоризненная. Она была вся узка костью; ее грудина хотя и сильно выдавалась вперед, грудь была узка. Зад был немного свислый, и в ногах передних, и особенно задних, была значительная косолапина. Мышцы задних и передних ног не были особенно крупны; но зато в подпруге лошадь была необыкновенно широка, что особенно поражало теперь, при ее выдержке и поджаром животе. Кости ее ног ниже колен казались не толще пальца, глядя спе-

реди, но зато были необыкновенно широки, глядя сбоку. Она вся, кроме ребер, как будто была сдавлена с боков и вытянута в глубину. Но у ней в высшей степени было качество, заставляющее забывать все недостатки; это качество была кровь, та кровь, которая сказывается, по английскому выражению. Резко выступающие мышцы из-под сетки жил, растянутой в тонкой, подвижной и гладкой, как атлас, коже, казались столь же крепкими, как кость. Сухая голова ее с выпуклыми блестящими, веселыми глазами расширялась у храпа в выдающиеся ноздри с налитой внутри кровью перепонкой. Во всей фигуре и в особенности в голове ее было определенное энергическое и вместе нежное выражение. Она была одно из тех животных, которые, кажется, не говорят только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого.

Вронскому по крайней мере показалось, что она поняла все, что он теперь, глядя на нее, чувствовал.

Как только Вронский вошел к ней, она глубоко втянула в себя воздух и, скашивая свой выпуклый глаз так, что белок налился кровью, с противоположной стороны глядела на вошедших, потряхивая намордником и упруго переступая с ноги на ногу.

– Ну, вот видите, как она взволнована, – сказал англичанин.

– О, милая! О! – говорил Вронский, подходя к лошади и уговаривая ее.

Но чем ближе он подходил, тем более она волновалась. Только когда он подошел к ее голове, она вдруг затихла, и мускулы ее затряслись под тонкою, нежною шерстью. Вронский погладил ее крепкую шею, поправил на остром загривке перекинувшуюся на другую сторону прядь гривы и придвинулся лицом к ее растянутому, тонким, как крыло летучей мыши, ноздрям. Она звучно втянула и выпустила воздух из напряженных ноздрей, вздрогнув, прижала острое ухо и вытянула крепкую черную губу ко Вронскому, как бы желая поймать его за рукав. Но, вспомнив о наморднике, она встряхнула им и опять начала переставлять одну за другою свои точеные ножки.

– Успокойся, милая, успокойся! – сказал он, погладив ее еще рукой по заду, и с радостным сознанием, что лошадь в самом хорошем состоянии, вышел из денника.

Волнение лошади сообщилось и Вронскому; он чувствовал, что кровь прилиwała ему к сердцу и что ему так же, как и лошади, хочется двигаться, кусаться; было и страшно и весело.

– Ну, так я на вас надеюсь, – сказал он англичанину, – в шесть с половиной на месте.

– Все исправно, – сказал англичанин. – А вы куда едете, милорд? – спросил он, неожиданно употребив это название *my-Lord*, которого он почти никогда не употреблял.

Вронский с удивлением приподнял голову и посмотрел, как он умел смотреть, не в глаза, а на лоб англичанина, удивляясь смелости его вопроса. Но поняв, что англичанин, делая этот вопрос, смотрел на него не как на хозяина, но как на жокея, ответил ему:

– Мне нужно к Брянскому, я через час буду дома.

«Который раз мне делают нынче этот вопрос!» – сказал он себе и покраснел, что с ним редко бывало. Англичанин внимательно посмотрел на него. И как будто он знал, куда едет Вронский, прибавил:

– Первое дело быть спокойным пред ездой, – сказал он, – не будьте не в духе и ничем не расстраивайтесь.

– All right, – улыбаясь, отвечал Вронский и, вскочив в коляску, велел ехать в Петергоф.

Едва он отъехал несколько шагов, как туча, с утра угрожавшая дождем, надвинулась, и хлынул ливень.

«Плохо! – подумал Вронский, поднимая коляску. – И то грязно было, а теперь совсем болото будет». Сидя в уединении закрытой коляски, он достал письмо матери и записку брата и прочел их.

Да, все это было то же и то же. Все, его мать, его брат, все находили нужным вмешиваться в его сердечные дела. Это вмешательство возбуждало в нем злобу – чувство, которое он редко испытывал. «Какое им дело? Почему всякий считает своим долгом заботиться обо мне? И

отчего они пристают ко мне? Оттого, что они видят, что это что-то такое, чего они не могут понять. Если б это была обыкновенная пошлая светская связь, они бы оставили меня в покое. Они чувствуют, что это что-то другое, что это не игрушка, эта женщина дороже для меня жизни. И это-то непонятно и потому досадно им. Какая ни есть и ни будет наша судьба, мы ее сделали, и мы на нее не жалуемся, – говорил он, в слове мы соединяя себя с Анною. – Нет, им надо научить нас, как жить. Они и понятия не имеют о том, что такое счастье, они не знают, что без этой любви для нас ни счастья, ни несчастья – нет жизни», – думал он.

Он сердился на всех за вмешательство именно потому, что он чувствовал в душе, что они, эти все, были правы. Он чувствовал, что любовь, связывавшая его с Анной, не была минутное увлечение, которое пройдет, как проходят светские связи, не оставив других следов в жизни того и другого, кроме приятных или неприятных воспоминаний. Он чувствовал всю мучительность своего и ее положения, всю трудность при той выставленности для глаз всего света, в которой они находились, скрывать свою любовь, лгать и обманывать; и лгать, обманывать, хитрить и постоянно думать о других тогда, когда страсть, связывавшая их, была так сильна, что они оба забывали обо всем другом, кроме своей любви.

Он живо вспомнил все те часто повторявшиеся случаи необходимости лжи и обмана, которые были так противны его натуре; вспоминал особенно живо не раз замеченное в ней чувство стыда за эту необходимость обмана и лжи. И он испытал странное чувство, со времени его связи с Анною иногда находившее на него. Это было чувство омерзения к чему-то: к Алексею ли Александровичу, к себе ли, ко всему ли свету, – он не знал хорошенько. Но он всегда отгонял от себя это странное чувство. И теперь, встряхнувшись, продолжал ход своих мыслей.

«Да, она прежде была несчастлива, но горда и спокойна; а теперь она не может быть спокойна и достойна, хотя она и не показывает этого. Да, это нужно кончить», – решил он сам с собою.

И ему в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что необходимо прекратить эту ложь, и чем скорее, тем лучше. «Бросить все ей и мне и скрыться куда-нибудь одним с своею любовью», – сказал он себе.

XXII

Ливень был непродолжительный, и когда Вронский подъезжал на всей рыси коренного, вытягивавшего скакавших уже без вожжей по грязи пристяжных, солнце опять выглянуло, и крыши дач, старые липы садов по обеим сторонам главной улицы блестели мокрым блеском, и с ветвей весело капала, а с крыш бежала вода. Он не думал уже о том, как этот ливень испортит гипподром, но теперь радовался тому, что благодаря этому дождю наверное застанет ее дома и одну, так как он знал, что Алексей Александрович, недавно вернувшийся с вод, не переезжал из Петербурга.

Надеясь застать ее одну, Вронский, как он и всегда делал это, чтобы меньше обратить на себя внимание, слез, не переезжая мостика, и пошел пешком. Он не пошел на крыльцо с улицы, но вошел во двор.

– Барин приехал? – спросил он у садовника.

– Никак нет. Барыня дома. Да вы с крыльца пожалуйста; там люди есть, отопрут, – отвечал садовник.

– Нет, я из сада пройду.

И убедившись, что она одна, и желая застать ее врасплох, так как он не обещался быть нынче и она, верно, не думала, что он приедет пред скачками, он пошел, придерживая саблю и осторожно шагая по песку дорожки, обсаженной цветами, к террасе, выходившей в сад. Вронский теперь забыл все, что он думал дорогой о тяжести и трудности своего положения. Он думал об одном, что сейчас увидит ее не в одном воображении, но живую, всю, какая она есть в действительности. Он уже входил, ступая во всю ногу, чтобы не шуметь, по отлогим ступеням террасы, когда вдруг вспомнил то, что он всегда забывал, и то, что составляло самую мучительную сторону его отношения к ней, – ее сына с его вопрошающим, противным, как ему казалось, взглядом.

Мальчик этот чаще всех других был помехой их отношений. Когда он был тут, ни Вронский, ни Анна не только не позволяли себе говорить о чем-нибудь таком, чего бы они не могли повторить при всех, но они не позволяли себе даже и намеками говорить то, чего бы мальчик не понял. Они не сговаривались об этом, но это установилось само собою. Они считали бы оскорблением самих себя обманывать этого ребенка. При нем они говорили между собой как знакомые. Но, несмотря на эту осторожность, Вронский часто видел устремленный на него внимательный и недоумевающий взгляд ребенка и странную робость, неровность, то ласку, то холодность и застенчивость в отношении к себе этого мальчика. Как будто ребенок чувствовал, что между этим человеком и его матерью есть какое-то важное отношение, значения которого он понять не может.

Действительно, мальчик чувствовал, что он не может понять этого отношения, и силился и не мог уяснить себе то чувство, которое он должен иметь к этому человеку. С чуткостью ребенка к проявлению чувства он ясно видел, что отец, гувернантка, няня – все не только не любили, но с отвращением и страхом смотрели на Вронского, хотя и ничего не говорили про него, а что мать смотрела на него, как на лучшего друга.

«Что же это значит? Кто он такой? Как надо любить его? Если я не понимаю, я виноват, или я глупый, или дурной мальчик», – думал ребенок; и от этого происходило его испытующее, вопросительное, отчасти неприязненное выражение, и робость, и неровность, которые так стесняли Вронского. Присутствие этого ребенка всегда и неизменно вызывало во Вронском то странное чувство беспричинного омерзения, которое он испытывал последнее время. Присутствие этого ребенка вызывало во Вронском и в Анне чувство, подобное чувству мореплавателя, видящего по компасу, что направление, по которому он быстро движется, далеко расходится с надлежащим, но что остановить движение не в его силах, что каждая минута удаляет его

больше и больше от должного направления и что признаться себе в отступлении – все равно, что признаться в гибели.

Ребенок этот с своим наивным взглядом на жизнь был компас, который показывал им степень их отклонения от того, что они знали, но не хотели знать.

На этот раз Сережи не было дома, и она была совершенно одна и сидела на террасе, ожидая возвращения сына, ушедшего гулять и застигнутого дождем. Она послала человека и девушку искать его и сидела, ожидая. Одета в белое с широким шитьем платье, она сидела в углу террасы за цветами и не слыхала его. Склонив свою чернокурчавую голову, она прижала лоб к холодной лейке, стоявшей на перилах, и обеими своими прекрасными руками, со столь знакомыми ему кольцами, придерживала лейку. Красота всей ее фигуры, головы, шеи, рук каждый раз, как неожиданностью, поражала Вронского. Он остановился, с восхищением глядя на нее. Но только что он хотел ступить шаг, чтобы приблизиться к ней, она уже почувствовала его приближение, оттолкнула лейку и повернула к нему свое разгоряченное лицо.

– Что с вами? Вы нездоровы? – сказал он по-французски, подходя к ней. Он хотел бежать к ней; но, вспомнив, что могли быть посторонние, оглянулся на балконную дверь и покраснел, как он всякий раз краснел, чувствуя, что должен бояться и оглядываться.

– Нет, я здорова, – сказала она, вставая и крепко пожимая его протянутую руку. – Я не ждала... тебя.

– Боже мой! какие холодные руки! – сказал он.

– Ты испугал меня, – сказала она. – Я одна и жду Сережу, он пошел гулять; они отсюда придут.

Но, несмотря на то, что она старалась быть спокойною, губы ее тряслись.

– Простите меня, что я приехал, но я не мог провести дня, не видав вас, – продолжал он по-французски, как он всегда говорил, избегая невозможно-холодного между ними вы и опасного ты по-русски.

– За что ж простить? Я так рада!

– Но вы нездоровы или огорчены, – продолжал он, не выпуская ее руки и нагибаясь над нею. – О чем вы думали?

– Все об одном, – сказала она с улыбкой.

Она говорила правду. Когда бы, в какую минуту ни спросили бы ее, о чем она думала, она без ошибки могла ответить: об одном, о своем счастье и о своем несчастье. Она думала теперь именно, когда он застал ее, вот о чем: она думала, почему для других, для Бетси например (она знала ее скрытую для света связь с Тушкевичем), все это было легко, а для нее так мучительно? Нынче эта мысль, по некоторым соображениям, особенно мучала ее. Она спросила его о скачках. Он отвечал ей и, видя, что она взволнована, стараясь развлечь ее, стал рассказывать ей самым простым тоном подробности приготовлений к скачкам.

«Сказать или не сказать? – думала она, глядя в его спокойные ласковые глаза. – Он так счастлив, так занят своими скачками, что не поймет этого как надо, не поймет всего значения для нас этого события».

– Но вы не сказали, о чем вы думали, когда я вошел, – сказал он, перервав свой рассказ, – пожалуйста, скажите!

Она не отвечала и, склонив немного голову, смотрела на него исподлобья вопросительно своими блестящими из-за длинных ресниц глазами. Рука ее, игравшая сорванным листом, дрожала. Он видел это, и лицо его выразило ту покорность, рабскую преданность, которая так подкупала ее.

– Я вижу, что случилось что-то. Разве я могу быть минуту спокоен, зная, что у вас есть горе, которого я не разделяю? Скажите, ради бога! – умоляюще повторил он.

«Да, я не прощу ему, если он не поймет всего значения этого. Лучше не говорить, зачем испытывать?» – думала она, все так же глядя на него и чувствуя, что рука ее с листком все больше и больше трясется.

– Ради бога! – повторил он, взяв ее руку.

– Сказать?

– Да, да, да...

– Я беременна, – сказала она тихо и медленно.

Листок в ее руке задрожал еще сильнее, но она не спускала с него глаз, чтобы видеть, как он примет это. Он побледнел, хотел что-то сказать, но остановился, выпустил ее руку и опустил голову. «Да, он понял все значение этого события», – подумала она и благодарно пожала ему руку.

Но она ошиблась в том, что он понял значение известия так, как она, женщина, его понимала. При этом известии он с удесятенною силой почувствовал припадок этого странного, находившего на него чувства омерзения к кому-то; но вместе с тем он понял, что тот кризис, которого он желал, наступил теперь, что нельзя более скрывать от мужа, и необходимо так или иначе разорвать скорее это неестественное положение. Но, кроме того, ее волнение физически сообщалось ему. Он взглянул на нее умиленным, покорным взглядом, поцеловал ее руку, встал и молча прошелся по террасе.

– Да, – сказал он решительно, подходя к ней. – Ни я, ни вы не смотрели на наши отношения как на игрушку, а теперь наша судьба решена. Необходимо кончить, – сказал он, оглядываясь, – ту ложь, в которой мы живем.

– Кончить? Как же кончить, Алексей? – сказала она тихо.

Она успокоилась теперь, и лицо ее сияло нежною улыбкой.

– Оставить мужа и соединить нашу жизнь.

– Она соединена и так, – чуть слышно отвечала она.

– Да, но совсем, совсем.

– Но как, Алексей, научи меня, как? – сказала она с грустною насмешкой над безвыходностью своего положения. – Разве есть выход из такого положения? Разве я не жена своего мужа?

– Из всякого положения есть выход. Нужно решиться, – сказал он. – Все лучше, чем то положение, в котором ты живешь. Я ведь вижу, как ты мучаешься всем, и светом, и сыном, и мужем.

– Ах, только не мужем, – с простою усмешкой сказала она. – Я не знаю, я не думаю о нем. Его нет.

– Ты говоришь неискренно. Я знаю тебя. Ты мучаешься и о нем.

– Да он и не знает, – сказала она, и вдруг яркая краска стала выступать на ее лицо; щеки, лоб, шея ее покраснели, и слезы стыда выступили ей на глаза. – Да и не будем говорить об нем.

XXIII

Вронский уже несколько раз пытался, хотя и не так решительно, как теперь, наводить ее на обсуждение своего положения и каждый раз сталкивался с тою поверхностностию и легкостью суждений, с которою она теперь отвечала на его вызов. Как будто было что-то в этом такое, чего она не могла или не хотела уяснить себе, как будто, как только она начинала говорить про это, она, настоящая Анна, уходила куда-то в себя и выступала другая, странная, чуждая ему женщина, которой он не любил и боялся и которая давала ему отпор. Но нынче он решился высказать все.

– Знает ли он, или нет, – сказал Вронский своим обычным твердым и спокойным тоном, – знает ли он, или нет, нам до этого дела нет. Мы не можем... вы не можете так оставаться, особенно теперь.

– Что ж делать, по-вашему? – спросила она с тою легкой насмешливостью. Ей, которая так боялась, чтоб он не принял легко ее беременность, теперь было досадно за то, что он из этого выводил необходимость предпринять что-то.

– Объявить ему все и оставить его.

– Очень хорошо; положим, что я сделаю это, – сказала она. – Вы знаете, что из этого будет? Я вперед все расскажу, – и злой свет зажегся в ее за минуту пред этим нежных глазах. – «А, вы любите другого и вступили с ним в *преступную* связь? (Она, представляя мужа, сделала, точно так, как это делал Алексей Александрович, ударение на слове преступную.) Я предупреждал вас о последствиях в религиозном, гражданском и семейном отношениях. Вы не послушали меня. Теперь я не могу отдать позору свое имя... – и своего сына, – хотела она сказать, но сыном она не могла шутить... – позору свое имя», и еще что-нибудь в таком роде, – добавила она. – Вообще он скажет со своею государственною манерой и с ясностью и точностью, что он не может отпустить меня, но примет зависящие от него меры остановить скандал. И сделает спокойно, аккуратно то, что скажет. Вот что будет. Это не человек, а машина, и злая машина, когда рассердится, – прибавила она, вспоминая при этом Алексея Александровича со всеми подробностями его фигуры, манеры говорить и его характера и в вину ставя ему все, что только могла она найти в нем нехорошего, не прощая ему ничего за ту страшную вину, которою она была пред ним виновата.

– Но, Анна, – сказал Вронский убедительным, мягким голосом, стараясь успокоить ее, – все-таки необходимо сказать ему, а потом уж руководиться тем, что он предпримет.

– Что ж, бежать?

– Отчего ж и не бежать? Я не вижу возможности продолжать это. И не для себя, – я вижу, что вы страдаете.

– Да, бежать, и мне сделаться вашею любовницей? – злобно сказала она.

– Анна! – укоризненно-нежно проговорил он.

– Да, – продолжала она, – сделаться вашей любовницей и погубить все...

Она опять хотела сказать: сына, но не могла выговорить этого слова.

Вронский не мог понять, как она, со своею сильною, честною натурой, могла переносить это положение обмана и не желать выйти из него; но он не догадывался, что главная причина этого было то слово сын, которого она не могла выговорить. Когда она думала о сыне и его будущих отношениях к бросившей его отца матери, ей так становилось страшно за то, что она сделала, что она не рассуждала, а, как женщина, старалась только успокоить себя лживыми рассуждениями и словами, с тем чтобы все оставалось по-старому и чтобы можно было забыть про страшный вопрос, что будет с сыном.

– Я прошу тебя, я умоляю тебя, – вдруг совсем другим, искренним и нежным тоном сказала она, взяв его за руку, – никогда не говори со мной об этом!

– Но, Анна...

– Никогда. Предоставь мне. Всю низость, весь ужас своего положения я знаю; но это не так легко решить, как ты думаешь. И предоставь мне, и слушайся меня. Никогда со мной не говори об этом. Обещаешь ты мне?... Нет, нет, обещай!..

– Я все обещаю, но я не могу быть спокоен, особенно после того, что ты сказала. Я не могу быть спокоен, когда ты не можешь быть спокойна...

– Я? – повторила она. – Да, я мучаюсь иногда; но это пройдет, если ты никогда не будешь говорить со мной. Когда ты говоришь со мной об этом, тогда только это меня мучает.

– Я не понимаю, – сказал он.

– Я знаю, – перебила она его, – как тяжело твоей честной натуре лгать, и жалею тебя. Я часто думаю, как для меня ты мог погубить свою жизнь.

– Я то же самое сейчас думал, – сказал он, – как из-за меня ты могла пожертвовать всем? Я не могу простить себе то, что ты несчастлива.

– Я несчастлива? – сказала она, приближаясь к нему и с восторженной улыбкой любви глядя на него, – я – как голодный человек, которому дали есть. Может быть, ему холодно, и платье у него разорвано, и стыдно, но он не несчастлив. Я несчастлива? Нет, вот мое счастье...

Она услышала голос возвращавшегося сына и, окинув быстрым взглядом террасу, порывисто встала. Взгляд ее зажегся знакомым ему огнем, она быстрым движением подняла свои красивые, покрытые кольцами руки, взяла его за голову, посмотрела на него долгим взглядом и, приблизив свое лицо с открытыми, улыбающимися губами, быстро поцеловала его рот и оба глаза и оттолкнула. Она хотела идти, но он удержал ее.

– Когда? – проговорил он шепотом, восторженно глядя на нее.

– Нынче, в час, – прошептала она и, тяжело вздохнув, пошла своим легким и быстрым шагом навстречу сыну.

Сережу дождь застал в большом саду, и они с няней просидели в беседке.

– Ну, до свиданья, – сказала она Вронскому. – Теперь скоро надо на скачки. Бетси обещала заехать за мной.

Вронский, взглянув на часы, поспешно уехал.

XXIV

Когда Вронский смотрел на часы на балконе Карениных, он был так растревожен и занят своими мыслями, что видел стрелки на циферблате, но не мог понять, который час. Он вышел на шоссе и направился, осторожно ступая по грязи, к своей коляске. Он был до такой степени переполнен чувством к Анне, что и не подумал о том, который час и есть ли ему еще время ехать к Брянскому. У него оставалась, как это часто бывает, только внешняя способность памяти, указывающая, что вслед за чем решено сделать. Он подошел к своему кучеру, задремавшему на козлах в косой уже тени густой липы, полюбовался переливающимися столбами толкачиков-мошек, вившихся над потными лошадьми, и, разбудив кучера, вскочил в коляску и велел ехать к Брянскому. Только отъехав верст семь, он настолько опомнился, что посмотрел на часы и понял, что было половина шестого и что он опоздал.

В этот день было несколько скачек: скачка конвойных, потом двухверстная офицерская, четырехверстная и та скачка, в которой он скакал. К своей скачке он мог поспеть, но если он поедет к Брянскому, то он только-только приедет, и приедет, когда уже будет весь двор. Это было нехорошо, но он дал Брянскому слово быть у него и потому решил ехать дальше, приказав кучеру не жалеть тройки.

Он приехал к Брянскому, пробыл у него пять минут и поскакал назад. Эта быстрая езда успокоила его. Все тяжелое, что было в его отношениях к Анне, вся неопределенность, оставшаяся после их разговора, все выскочило из его головы; он с наслаждением и волнением думал теперь о скачке, о том, что он все-таки поспеет, и изредка ожидание счастья свидания нынешней ночи вспыхивало ярким светом в его воображении.

Чувство предстоящей скачки все более и более охватывало его, по мере того как он въезжал дальше и дальше в атмосферу скачек, обгоняя экипажи ехавших с дач и из Петербурга на скачки.

На его квартире никого уже не было дома: все были на скачках, и лакей его дожидался у ворот. Пока он переодевался, лакей сообщил ему, что уже начались вторые скачки, что приходило много господ спрашивать про него и из конюшни два раза прибежал мальчик.

Переодевшись без торопливости (он никогда не торопился и не терял самообладания), Вронский велел ехать к баракам. От барakov ему уже были видны море экипажей, пешеходов, солдат, окружавших гипподром, и кипящие народом беседки. Шли, вероятно, вторые скачки, потому что в то время, как он входил в барак, он слышал звонок. Подходя к конюшне, он встретился с белоногим рыжим Гладиатором Махотина, которого в оранжевой с синим попоне, с кажущимися огромными, отороченными синим ушами, вели на гипподром.

– Где Корд? – спросил он у конюха.

– В конюшне, седлают.

В отворенном деннике Фру-Фру уже была оседлана. Ее собирались выводить.

– Не опоздал?

– All right! All right! Все исправно, все исправно, – проговорил англичанин, – не будьте взволнованы.

Вронский еще раз окинул взглядом прелестные, любимые формы лошади, дрожавшей всем телом, и, с трудом оторвавшись от этого зрелища, вышел из барака. Он подъехал к беседкам в самое выгодное время для того, чтобы не обратить на себя ничьего внимания. Только что кончилась двухверстная скачка, и все глаза были устремлены на кавалергарда впереди и лейб-гусара сзади, из последних сил посылавших лошадей и подходивших к столбу. Из середины и извне круга все теснились к столбу, и кавалергардская группа солдат и офицеров громкими возгласами выражала радость ожидаемого торжества своего офицера и товарища. Вронский незаметно вошел в середину толпы почти в то самое время, как раздался звонок, оканчиваю-

щий скачки, и высокий, забрызганный грязью кавалергард, пришедший первым, опустившись на седло, стал спускать поводья своему серому, потемневшему от поту, тяжело дышавшему жеребцу.

Жеребец, с усилием тыкаясь ногами, укоротил быстрый ход своего большого тела, и кавалергардский офицер, как человек, проснувшийся от тяжелого сна, оглянулся кругом и с трудом улыбнулся. Толпа своих и чужих окружила его.

Вронский умышленно избегал той избранной, великосветской толпы, которая сдержанно и свободно двигалась и переговаривалась пред беседками. Он узнал, что там была и Каренина, и Бетси, и жена его брата, и нарочно, чтобы не развлечься, не подходил к ним. Но беспрестанно встречавшиеся знакомые останавливали его, рассказывая ему подробности бывших скачек и расспрашивая его, почему он опоздал.

В то время как скакавшие были призваны в беседку для получения призов и все обратились туда, старший брат Вронского, Александр, полковник с аксельбантами, невысокий ростом, такой же коренастый, как и Алексей, но более красивый и румяный, с красным носом и пьяным, открытым лицом, подошел к нему.

– Ты получил мою записку? – сказал он. – Тебя никогда не найдешь.

Александр Вронский, несмотря на разгульную, в особенности пьяную жизнь, которой он был известен, был вполне придворный человек.

Он теперь, говоря с братом о неприятной весьма для него вещи, зная, что глаза многих могут быть устремлены на них, имел вид улыбающийся, как будто он о чем-нибудь неважном шутил с братом.

– Я получил и, право, не понимаю, о чем ты заботишься, – сказал Алексей.

– Я о том забочусь, что сейчас мне было замечено, что тебя нет и что в понедельник тебя встретили в Петергофе.

– Есть дела, которые подлежат обсуждению только тех, кто прямо в них заинтересован, и то дело, о котором ты так заботишься, – такое...

– Да, но тогда не служат, не...

– Я тебя прошу не вмешиваться, и только.

Нахмуренное лицо Алексея Вронского побледнело, и выдающаяся нижняя челюсть его дрогнула, что с ним бывало редко. Он, как человек с очень добрым сердцем, сердился редко, но когда он сердился и когда у него дрожал подбородок, то, как и знал это Александр Вронский, он был опасен. Александр Вронский весело улыбнулся.

– Я только хотел передать письмо матушки. Отвечай ей и не расстраивайся пред ездой. *Bonnie chance*²⁴, – прибавил он, улыбаясь, и отошел от него.

Но вслед за ним опять дружеское приветствие остановило Вронского.

– Не хочешь знать приятелей! Здравствуй, *mon cher*! – заговорил Степан Аркадьич, и здесь, среди этого петербургского блеска, не менее, чем в Москве, блистая своим румяным лицом и лоснящимися расчесанными бакенбардами. – Вчера приехал и очень рад, что увижу твое торжество. Когда увидимся?

– Заходи завтра в артель, – сказал Вронский и, пожав его, извиняясь, за рукав пальто, отошел в середину гипподрома, куда уже вводили лошадей для большой скачки с препятствиями.

Потные, измученные скакавшие лошади, проваживаемые конюхами, уводились домой, и одна за другой появлялись новые к предстоящей скачке, свежие, большею частью английские лошади, в капорах, со своими поддернутыми животами, похожие на странных огромных птиц. Направо водили поджарую красавицу Фру-Фру, которая, как на пружинах, переступала на своих эластичных и довольно длинных бабках. Недалеко от нее снимали попону с лопоухого

²⁴ Желая удачи (*франц.*).

Гладиатора. Крупные, прелестные, совершенно правильные формы жеребца с чудесным задом и необычайно короткими, над самыми копытами сидевшими бабками невольно останавливали на себе внимание Вронского. Он хотел подойти к своей лошади, но его опять задержал знакомый.

– А, вот Каренин! – сказал ему знакомый, с которым он разговаривал. – Ищет жену, а она в средней беседке. Вы не видали ее?

– Нет, не видал, – отвечал Вронский и, не оглянувшись даже на беседку, в которой ему указывали на Каренину, подошел к своей лошади.

Не успел Вронский посмотреть седло, о котором надо было сделать распоряжение, как скачущих позвали к беседке для вынимания номеров и отправления. С серьезными, строгими, многие с бледными лицами, семнадцать человек офицеров сошлись к беседке и разобрали номера. Вронскому достался седьмой номер. Послышалось: «Садиться!»

Чувствуя, что он вместе с другими скачущими составляет центр, на который устремлены все глаза, Вронский в напряженном состоянии, в котором он обыкновенно делался медлителен и спокоен в движениях, подошел к своей лошади. Корд для торжества скачек оделся в свой парадный костюм: черный застегнутый сюртук, тугие воротнички, подпиравшие ему щеки, и в круглую черную шляпу и ботфорты. Он был, как и всегда, спокоен и важен и сам держал за оба поводья, стоя пред нею. Фру-Фру продолжала дрожать как в лихорадке. Полный огня глаз ее косился на подходившего Вронского. Вронский подsunул палец под подпругу. Лошадь покосилась сильнее, оскалилась и прижала ухо. Англичанин поморщился губами, желая выразить улыбку над тем, что поверяли его седланье.

– Садитесь, меньше будете волноваться.

Вронский оглянулся в последний раз на своих соперников. Он знал, что на езде он уже не увидит их. Двое уже ехали вперед к месту, откуда должны были пускать. Гальцин, один из опасных соперников и приятель Вронского, вертелся вокруг гнедого жеребца, не дававшегося садиться. Маленький лейб-гусар в узких рейтузах ехал галопом, согнувшись, как кот, на крупу, из желания подражать англичанам. Князь Кузовлев сидел бледный на своей кровной, Грабовского завода, кобыле, и англичанин вел ее под уздцы. Вронский и все его товарищи знали Кузовлева и его особенность «слабых» нервов и страшного самолюбия. Они знали, что он боялся всего, боялся ездить на фронтовой лошади; но теперь, именно потому, что это было страшно, потому что люди ломали себе шеи и что у каждого препятствия стояли доктор, лазаретная фура с нашитым крестом и сестрою милосердия, он решился скакать. Они встретились глазами, и Вронский ласково и одобрительно подмигнул ему. Одного только он не видал, главного соперника, Махотина на Гладиаторе.

– Не торопитесь, – сказал Корд Вронскому, – и помните одно: не задерживайте у препятствий и не посылайте, давайте ей выбирать, как она хочет.

– Хорошо, хорошо, – сказал Вронский, взявшись за поводья.

– Если можно, ведите скачку; но не отчаивайтесь до последней минуты, если бы вы были и сзади.

Лошадь не успела двинуться, как Вронский гибким и сильным движением стал в стальное, зазубренное стремя и легко, твердо положил свое сбитое тело на скрипящее кожей седло. Взяв правою ногой стремя, он привычным жестом уравнивал между пальцами двойные поводья, и Корд пустил руки. Как будто не зная, какую прежде ступить ногой, Фру-Фру, вытягивая длинную шею поводья, тронулась, как на пружинах, покачивая седока на своей гибкой спине. Корд, прибавляя шага, шел за ним. Взмолвленная лошадь то с той, то с другой стороны, стараясь обмануть седока, вытягивала поводья, и Вронский тщетно голосом и рукой старался успокоить ее.

Они уже подходили к запруженной реке, направляясь к тому месту, откуда должны были пускать их. Многие из скачущих были впереди, многие сзади, как вдруг Вронский услышал

сзади себя по грязи дороги звуки галопа лошади, и его обогнал Махотин на своем белоногом, лопоухом Гладиаторе. Махотин улыбнулся, выставляя свои длинные зубы, но Вронский сердито взглянул на него. Он не любил его вообще, теперь же считал его самым опасным соперником, и ему досадно стало на него, что он проскакал мимо, разгорячив его лошадь. Фру-Фру вскинула левую ногу на галоп и сделала два прыжка и, сердясь на натянутые поводья, перешла на тряскую рысь, вскидывавшую седока. Корд тоже нахмурился и почти бежал иноходью за Вронским.

XXV

Всех офицеров скакало семнадцать человек. Скачки должны были происходить на большом четырехверстном эллиптической формы кругу пред беседкой. На этом кругу были устроены девять препятствий: река, большой, в два аршина, глухой барьер пред самою беседкой, канава сухая, канава с водою, косогор, ирландская банкетка, состоящая (одно из самых трудных препятствий) из вала, утыканного хворостом, за которым, не видная для лошади, была еще канава, так что лошадь должна была перепрыгнуть оба препятствия или убиться; потом еще две канавы с водою и одна сухая, – и конец скачки был против беседки. Но начинались скачки не с круга, а за сто сажен в стороне от него, и на этом расстоянии было первое препятствие – запруженная река в три аршина шириною, которую ездоки по произволу могли перепрыгивать или переезжать вброд.

Раза три ездоки выравнивались, но каждый раз высывалась чья-нибудь лошадь, и нужно было заезжать опять сначала. Знаток пускания, полковник Сестрин, начинал уже сердиться, когда, наконец, в четвертый раз крикнул: «Пошел!» – и ездоки тронулись.

Все глаза, все бинокли были обращены на пеструю кучку всадников, в то время как они выравнивались.

«Пустили! Скачут!» – слышалось со всех сторон после тишины ожидания.

И кучки и одинокие пешеходы стали перебегать с места на место, чтобы лучше видеть. В первую же минуту собранная кучка всадников растянулась, и видно было, как они по два, по три и один за другим близятся к реке. Для зрителей казалось, что они все поскакали вместе; но для ездоков были секунды разницы, имевшие для них большое значение.

Взволнованная и слишком нервная Фру-Фру потеряла первый момент, и несколько лошадей взяли с места прежде ее, но, еще не доскакивая реки, Вронский, изо всех сил сдерживая влегшую в поводья лошадь, легко обошел трех, и впереди его оставался только рыжий Гладиятор Махотина, ровно и легко отбивавший задом пред самим Вронским, и еще впереди всех прелестная Диана, несшая ни живого ни мертвого Кузовлева.

В первые минуты Вронский еще не владел ни собою, ни лошадыю. Он до первого препятствия, реки, не мог руководить движениями лошади.

Гладиятор и Диана подходили вместе и почти в один и тот же момент: раз-раз, поднялись над рекой и перелетели на другую сторону; незаметно, как бы летя, взвилась за ними Фру-Фру, но в то самое время, как Вронский чувствовал себя на воздухе, он вдруг увидал, почти под ногами своей лошади, Кузовлева, который барахтался с Дианой на той стороне реки (Кузовлев пустил поводья после прыжка, и лошадь полетела с ним через голову). Подробности эти Вронский узнал уже после, теперь же он видел только то, что прямо под ноги, куда должна стать Фру-Фру, может попасть нога или голова Дианы. Но Фру-Фру, как падающая кошка, сделала на прыжке усилие ногами и спиной и, миновав лошадь, понеслась дальше.

«О, милая!» – подумал Вронский.

После реки Вронский овладел вполне лошадыю и стал удерживать ее, намереваясь перейти большой барьер позади Махотина и уже на следующей, беспрепятственной дистанции саженей в двести попытаться обойти его.

Большой барьер стоял пред самой царскою беседкой. Государь, и весь двор, и толпы народа – все смотрели на них – на него и на шедшего на лошадь дистанции впереди Махотина, когда они подходили к черту (так назывался глухой барьер). Вронский чувствовал эти направленные на него со всех сторон глаза, но он ничего не видел, кроме ушей и шеи своей лошади, бежавшей ему навстречу земли и крупа и белых ног Гладиятора, быстро отбивавших такт впереди его и остававшихся все в одном и том же расстоянии. Гладиятор поднялся, не стукнув ничем, взмахнул коротким хвостом и исчез из глаз Вронского.

– Bravo! – сказал чей-то один голос.

В то же мгновение пред глазами Вронского, пред ним самим, мелькнули доски барьера. Без малейшей перемены движения лошадь взвилась под ним; доски скрылись, и только сзади стукнуло что-то. Разгоряченная шедшим впереди Гладиатором, лошадь поднялась слишком рано пред барьером и стукнула о него задним копытом. Но ход ее не изменился, и Вронский, получив в лицо комок грязи, понял, что он стал опять в то же расстояние от Гладиатора. Он увидел опять впереди себя его круп, короткий хвост и опять те же неудаляющиеся, быстро движущиеся белые ноги.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.